

В.И. Мельник

ГОНЧАРОВ И ПРАВОСЛАВИЕ

*Духовный мир
писателя*



Владимир Иванович Мельник Гончаров и православие

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11828783

*Гончаров и Православие. Духовный мир писателя. / Мельник В. И. «», . : ДАРЪ; Москва; 2008
ISBN 978-5-485-002122-1*

Аннотация

Личность и творчество великого русского писателя И.А. Гончарова впервые рассматриваются с христианской точки зрения. Установлено, что писатель находился в церковной ограде от первого до последнего дня своей жизни, а в его романах разлит свет Евангелия. Романная трилогия Гончарова показывает духовное восхождение героя: от Адуева в «Обыкновенной истории» до РАЙского в «Обрыве». Книга доказательно ставит имя Гончарова в ряд христианских русских писателей: от Н.В. Гоголя до А.С. Хомякова и Ф.М. Достоевского. При этом Гончаров шел своим путем, предвосхищая поиски христианской философии Серебряного века.

Содержание

Введение	5
Религиозное становление И.А. Гончарова в Симбирске	7
Гончаровы в Симбирске	7
Гончаровы – старообрядцы? Отец и дед	9
Мать: Авдотья Матвеевна (рожд. Шахторина)	14
Крестный Николай Николаевич Трегубов	16
Священник Федор Степанович Троицкий	18
Симбирск и святой блаженный Андрей (Огородников)	20
Годы учения. Москва	23
Учитель «Закона веры» – протоиерей Михаил Васильевич Соловьев	26
Московский университет	28
На родине. Губернатор А. М. Загряжский	33
Храм святого Пантелеймона	38
Непостыдная кончина	42
Христианство и культура	45
Салон Майковых. Первые литературные опыты	45
Христианство и культура. Франты и джентльмены	47
«Обыкновенная история»	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Владимир Мельник Гончаров и Православие. Духовный мир писателя

Только когда я закончил свои работы, отошел от них на некоторое расстояние и время, – тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них смысл, их значение – идея. Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое.

И.А. Гончаров

По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси
АЛЕКСИЯ II

Введение

Биография и творчество И. А. Гончарова практически не изучены с точки зрения религиозных проявлений его личности и его религиозного мирозерцания. Чрезвычайная личная скрытность Гончарова в вопросах веры, а также неявно выраженная авторская позиция в его романах привели к тому, что до сих пор неясно своеобразие его религиозных взглядов, их эволюция. До 1917 года, впрочем, было предпринято несколько попыток хотя бы в общих чертах определить своеобразие Гончарова как религиозно мыслящего писателя. Так, например, в 1913 году вышла работа священника Николая Ремизова «Иван Александрович Гончаров в религиозно-этических и социально-общественных воззрениях своих произведений». В самом общем виде автор этой работы попытался очертить религиозное настроение Гончарова: «Иван Ал. Гончаров причисляется к людям, которые специально о религии ничего не писали, богословскими вопросами не задавались и не думали над ними, но которые при всем этом в существе своем, в глубине своей души всегда бывали очень религиозны. В этом смысле Иван Александрович был всегда, от дней детства и до конца жизни своей, глубоко религиозным христианином; скромный во всем, избегавший славы и популярности едва ли не более всех наших писателей, Иван Александрович менее всего был расположен удивлять кого-либо своей религиозностью. Но он носил в себе удивительный родник религиозности, который во всех его произведениях временами брызжет особенною теплотою веры. Религиозные мотивы и проявления у него не часты, но зато они так ярки и так сильны... Вера Ивана Александровича имеет живое, активное свойство, охватывающее весь мир человеческой жизни и мысли. По форме она есть, пожалуй, «старая правда»; веками установившийся строй религиозного мышления и поведения, но в своем содержании и внутреннем существе она есть живая сила, создающая сильный человеческий характер...»¹.

После революции восприятие творчества Гончарова резко и, казалось, бесповоротно изменилось. Господствующим в литературоведении на долгое время стало мнение, что Гончаров абсолютно индифферентен к вопросам религии. Благо, что в текстах писателя религиозные аспекты (как, впрочем, и многие иные) настолько «обытовлены», органически слиты с контекстом, что для их выявления нужен специальный и притом весьма тонкий и глубокий анализ всего его творчества, всей биографии. Вот почему вопрос об отношении Гончарова к христианству, к Православной Церкви и ее деятелям, вопрос о проявлениях религиозного мирозерцания в его произведениях, о его религиозном воспитании и окружении, о его месте в религиозном контексте эпохи – не только не изучен, но и практически не поставлен.

Неизученность столь важной проблемы значительно искажает облик писателя, масштаб и глубину его нравственно-художественных исканий. В глазах современников и потомков Гончаров вовсе не относился к числу искателей религиозной истины, подобно Л.Н. Толстому или Ф.М. Достоевскому. Поклонник искусства и красоты, защитник либерального воззрения на жизнь, любитель комфорта, художник, чуждый всякой утопии и тяготеющий к античному культу горацанской «меры», «золотой середины», автор «Обрыва» отчасти справедливо казался современникам человеком, весьма далеким от религиозных исканий. В оценке этой стороны его личности господствовали мнения однозначно негативные. Л.Н. Толстой однажды характерно противопоставил ему Ф.М. Достоевского: «Конечно, это настоящий писатель, с истинно религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров»². Понятно, что и в советское время в романисте хотели видеть человека атеистического и материалистического мировоззрения. Так, А.Г. Цейтлин в своей солидной монографии о Гончарове отмечал: «Нет в творчестве Гончарова... того религиозного пафоса, без которого нельзя себе представить Достоевского и Льва Толстого последнего периода его жизни. Внешнюю набож-

ность, присущую Гончарову, никак нельзя смешивать с религиозным чувством в подлинном смысле. Веры в бога нет и у героев Гончарова...»³. Еще совсем недавно один исследователь утверждал, что «религиозная тема, по существу, отсутствует в романах Гончарова» и что «Гончаров пришел к материалистическому пониманию человека»⁴.

Между тем и личность, и творчество Гончарова совершенно невозможно понять вне религиозного контекста. Правда, изучение религиозной жизни автора «Обломова» представляет собой весьма нелегкую задачу в связи с его крайней скрытностью в вопросах внутренней душевной жизни вообще. Еще М.Ф. Суперанский в 1913 году писал: «Что касается внутренней религиозности, то о ней мы знаем очень мало. В эту святая святых своей души он не пускал любопытных глаз. О религии с людьми, равнодушными к ней, он говорить не любил... или отделялся мало значащими фразами... он не был способен высказывать свои душевные мысли в этой области, и если случайно проговаривался, то сейчас же старался сдержаться, тотчас же посмеяться над собой»⁵. Зато трудно не увидеть прямых и бесчисленных высказываний писателя, подтверждающих его глубокую укорененность в религии, в его статьях, письмах, воспоминаниях. Главное же заключается в том, что Гончаров на протяжении всей жизни последовательно и творчески выстраивал христианское мировоззрение в своих романах. Как у христианского мыслителя у Гончарова была своя «сверхзадача». Она то и придает его романам истинную глубину и религиозно-философскую масштабность. В этом смысле существующие на сегодняшний день интерпретации гончаровских романов далеко не полно раскрывают их глубинный, все еще скрытый от нас смысл. В научный оборот все еще не попали многие и многие факты биографии писателя. Анализ творчества романиста под углом христианских идеалов обнаруживает и своеобразие Гончарова как религиозной личности и христианского мыслителя. Нужно признать, что автор «Обрыва» занимает куда более значительное место в ряду истинно религиозных писателей XIX века, чем мы это себе представляем.

Религиозное становление И.А. Гончарова в Симбирске

Гончаровы в Симбирске

Анализируя ход развития человеческой личности, Гончаров всегда отмечал органичность, естественность, постепенность этого развития. В письме к Великому князю Константину Константиновичу Романову от 12–15 сентября 1886 года он писал, что «Христовавера» «унаследуется сначала в семейном быту, от родителей, и потом развивается и укрепляется учением, проповедью наставников и, наконец, всем строем жизни христианского общества»⁶. Несомненно, что эти заключения писатель делал, исходя из собственного опыта. Как религиозная личность Иван Александрович Гончаров формировался в глубокой русской провинции, в старинном поволжском городе Симбирске. Обстановка провинциального Симбирска в трудах о Гончарове всегда представлена лишь несколькими штрихами, характеризующими мимолетно лишь некоторые, скорее традиционные и внешние, стороны жизни этого дворянско-купеческого городка. В основном исследователями приводятся отрывки из романа «Обломов», колоритно рисуящие природу и нравы родины писателя. Эти всем известные поэтичные картины нравов провинциального города, поволжской природы действительно составляют едва ли не лучшие страницы «Обыкновенной истории», «Обломова», «Обрыва». Из этих описаний так и пробивается любовь писателя к родным местам: «С балкона в комнату пахло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу» (А. 1.178)¹.

Несмотря на свою удаленность от столиц, Симбирск не был захолустьем. Более того, это был по-своему весьма примечательный город. В нем причудливо сочетались, с одной стороны, сонная «обломовщина», глубокий неподвижный провинциализм, а с другой – энергичная, порою даже подвижническая деятельность обитателей города в самых различных сферах жизни. Между прочим, Симбирск среди других провинциальных городов России выделялся необычайной представительностью замечательных дворянских родов. В очерке «На родине» сам романист писал: «Губернские города, подальше от столицы, были, до железных дорог, оживленными центрами общественной жизни. Помещики с семьями, по дальнему расстоянию от Москвы, проводили зиму в своем губернском городе. Наша губерния особенно славилась отборным обществом родовитых и богатых дворян» (VII. 233)² Как известно, наиболее престижными в дворянских кругах считались дворяне первого (жалованное, действительное дворянство) и шестого (древние благородные роды) разрядов. По количеству дворян этих двух категорий Симбирская губерния заметно отличалась

¹ Ссылки на полное собрание сочинений и писем И. А. Гончарова в 20-ти т. (СПб., 1997-) даются в тексте с литерой «А», указанием тома (римскими цифрами) и страницы. Цитаты из романов Гончарова будут сопровождаться сноской в тексте с указанием части и главы романа, но без указания издания, тома и страницы. Небольшие цитаты из произведений, статей и писем Гончарова могут вовсе не сопровождаться ссылкой.

² Ссылки на собрание сочинений И. А. Гончарова в 8-ми т. (М., 1952–1955) даются в тексте с указанием тома (римскими цифрами) и страницы.

от многих провинций России⁷. Все это создавало особую атмосферу в городе, «Симбирское дворянство было о себе высокого мнения и даже на губернаторов привыкло смотреть как на равных себе и членов своих обществ. Известно, что из-за столкновения с местным дворянством в середине XIX века губернию покинули подряд 3 губернатора (А.М. Загряжский, И.С. Жиркевич и И.П. Хомутов)»⁸

В Симбирской губернии было много знаменитых дворянских усадеб, с которыми так или иначе оказались связаны замечательные представители русской культуры XIX века, такие, как Н.М. Карамзин, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, С.Т. Аксаков, Д.В. Григорович, П.В. Анненков и др.⁹

Гончаров принадлежал к «коренной», заметной в Симбирске фамилии. Известно, что его дед, Иван Иванович Гончаров, родился в 1710 году в Симбирске – в семье солдата. Службой в Оренбургском крае дед писателя выслужил себе дворянство. В 1759 году 49-летний Иван Иванович Гончаров снова числится в Симбирске. У Гончаровых были родственные связи с симбирским дворянством и высокий авторитет в городе¹⁰, его отец был довольно зажиточным купцом, хлеботорговцем, владельцем свечного завода, он неоднократно избирался симбирянами городским головой¹¹.

Важнейшие события семейной жизни Гончаровых, к счастью, оказались зафиксированными в так называемом «Летописце». Так, в «Летописце» есть запись 1742 года об Иване Ивановиче Гончарове: «Пожалован я из полковых писарей в аудиторы 1738 года июня 28 дня а из аудиторов в порутчики и 1742 году марта 18 дня и порутчицкой патент дан от Военной коллегии»¹². В этой замечательной рукописной книге отмечено, в частности, и то, что Васса Степановна, вероятно, бабка романиста, «1759 году декабря 4-го числа... преставилась от сего света отыде в вечное блаженство погребена в Синбирску у Троицы в Николаев день»¹³. Тут же встречаются и другие по характеру записи, вроде: «1764-го года августа против 15-го числа то есть Успения Пресвятыя Богородицы всю ночь был гром велий беспрестанно и молния была беспрестанно»¹⁴. Однако «Летописец» интересен и в другом смысле. Он дает первые документированные сведения о религиозной атмосфере, в которой возрастал Иван Александрович Гончаров в своей семье.

Будущий писатель родился 6 июня 1812 года. Назвали его в честь св. Иоанна Предтечи, день памяти которого отмечается 7 июня, – Иваном. В одном из писем к Великому князю Константину Константиновичу Романову он писал: «Иоанн Креститель – и мой патрон»¹⁵. Крещение же состоялось 11 июня. Крестным отцом был надворный советник и кавалер Николай Николаевич Трегубов, которому суждено было сыграть немалую роль в дальнейшей судьбе писателя.

Крестной матерью стала некто Дарья Михайловна Косолапова, купеческая вдова.¹⁶ К сожалению, о крестной матери Гончарова нам ничего не известно. Пока не совсем ясно, в какой церкви был крещен Иван Гончаров. Возможно, это была буквально примыкающая к дому Гончаровых церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Впрочем, известно, что свидетельство о крещении выдано лишь через десять лет: 16 мая 1822 года¹⁷.

Гончаровы – старообрядцы? Отец и дед

Первый вопрос, с которым должен столкнуться исследователь религиозной биографии Гончарова, это вопрос о возможной принадлежности Гончаровых к старообрядцам. Один из первых биографов писателя М.Ф. Суперанский (1864–1930) имел возможность пользоваться еще устными преданиями Симбирска. В одной из своих работ он написал об отце Гончарова: «О нем сохранилось известие, что он был «человек ненормальный, меланхолик, часто заговаривался, был очень благочестив и слыл «старовером»¹⁸. К сожалению, нет точных сведений, был ли на самом деле Александр Иванович Гончаров (1754–1819) «старовером». Впрочем, в этом не было бы ничего удивительного: как известно, в Поволжье традиционно было много старообрядцев. Когда на Соборе 1666–1667 годов был поднят вопрос о создании новой, Симбирской, епархии, необходимость в ней обосновывалась «остатками язычества среди самих русских и особенно быстрым распространением раскола»¹⁹. Во всяком случае, еще в середине XIX века, в 1854 году, старообрядцам была передана в Симбирске Успенская церковь.²⁰

Впрочем, есть один факт, который косвенно мог бы свидетельствовать о том, что Гончаровы старообрядцами не были. Известно, что один из родственников писателя, некто Алексей Гончаров, еще в XVIII веке пожертвовал Смоленской церкви города Симбирска книгу святителя Димитрия Ростовского «Розыск о раскольнической брынской вере, об учении их, о делах их и изъявление, яко вера их не права, учение их душе вредно и дела их не богоугодны» (1709)²¹. В то же время этого свидетельства явно недостаточно: Алексей Гончаров лично мог выйти из раскольников, однако его пример еще не говорит обо всех симбирских Гончаровых, в вопросах веры каждый отвечает за себя. Публикаторы семейного «Летописца» Гончаровых склонны поддерживать версию о старообрядчестве семьи Гончаровых: «В летописце в период Алексея Михайловича появляются записи о знамениях. Их количество постепенно в семейной части увеличивается. Отмечена и частая смена царской власти конца XVII – первой половины XVIII века. На наш взгляд, это еще одно дополнительное свидетельство в пользу версии о старообрядчестве Гончаровых... Старообрядцы сопоставляли эсхатологические сюжеты с современными им событиями и делали вывод о том, что последние времена наступили, поскольку исполнились предсказания о конце света»²². Впоследствии впечатления от «Летописца» вошли в произведения Гончарова. В особенности это касается «Сна Обломова», в котором воспроизводится домашняя атмосфера детства писателя. В «Сне Обломова» он упоминает, что обломовцы весьма падки на чудеса и знамения: «А то вдруг явятся знамения небесные, *огненные столпы да шары...*» Это текстуально перекликается с «Летописцем»: «В тех же временах многое было знамение на небеси очень часто... Того ж году ноября 17-м числа знамение было на небеси *огненные лучи и столбы*»²³.

Гончаровская семейная книга с ее особенной духовно-нравственной атмосферой сыграла несомненную роль при описании психологии обломовцев в «Сне Обломова». Собственно, «Летописец» воспроизводил атмосферу не только семьи Гончаровых, но и всего поволжского городка.

Возникает вопрос: как же старообрядец крестил своих детей в обычной «новой» церкви? Все дело в том, что в практической жизни очень часто границы новой и старой веры были весьма подвижны. Хотя в своем учении старообрядцы, и, в частности, «поповцы», отвергали общение с «никонианами», однако на практике таковое общение не только допускалось, но и было широко распространенным явлением. Границы «раскола» были нечеткими и весьма подвижными из-за широкого распространения двоеперстия, вне зависимости от того, ходил ли человек на исповедь к «никонианскому» священнику или в скит. Зачастую

старообрядцы и «никониане» посещали один храм и принимали требы у одного священника. Напомним, что В.И. Даль, отмечая положение старообрядцев в Поволжье в своей служебной записке о расколе, писал: «По всей Волге церковные расколы составляют весьма важную стихию черной стороны общественного быта... Заволжские уезды

Нижегородской губернии населены почти одними раскольниками, и притом северных толков, большею частью поповщины; в средних уездах много этих же раскольников, но есть и беспоповщина; в южных уездах господствует в народе, и даже в мордовском населении, созерцательная наклонность, сближающая его с тамбовскими хлыстами и христовщиной. Даже в чисто православных семьях большинство ходит на исповедь, но не бывает у святого причастия, называя себя недостойным; а обеты девства встречаются во множестве, равно и обычай строить отдельно от селения кельи, целый келейный ряд для этих отшельниц.

Все старания об уничтожении раскола носят на себе тот же странный и прискорбный отпечаток усиленной деятельности в средоточии, расплывающийся в последующих, низших степенях, для одного только виду, в бумажном многоделии, в словах и графах.

При нынешней полиции, а еще более при нынешнем священстве, никакие распоряжения правительства в этом отношении не могут принести пользы, потому что приход без раскольников считается плохим; приход с раскольниками гласными или отписными – также не корыстен; а приход с раскольниками безгласными, не попавшими своевременно в записи или отложившиеся после того, – самый выгодный и доходный. Такие раскольники всегда в руках у попа. Показать их всех раскольниками он не смеет, он тотчас был бы обвинен в том, что они при нем отложились, так как до него они раскольниками не показывались; ему даже и вовсе невыгодно было бы обнаруживать их и потерять этим вдруг лучшую часть своего дохода; не менее того, каждый из них у него в руках и каждому он грозит донесением об отступничестве его, потому что каждый записан православным. Дело оканчивается тем, что раскольники эти, по духовным росписям, оказываются самыми ревностными сынами церкви и записываются бытчиками. Таких бытчиков, по росписям, никогда не ступающих ногою на паперть церковную, много, гораздо более, чем отписных или гласных, и их каждый приходский священник передает преемнику своему, имея лучшую часть прихода, которою дорожит.

При таких отношениях очевидно, что никакие распоряжки не могут помочь беде. Раскольники считают себя привилегированным сословием, которое бывает виновато тогда только, когда не уплатит требуемых с него поборов. Затем, раскольника преследуют следствием и судом, только по особым случаям ссоры с попом или при отказе в непосильных требованиях; и всякое новое постановление по расколу, в чем бы оно ни состояло, служит новыми тисками для вымогательства, более в нем местного значения нет»²⁴.

Соответственно, и приходскому духовенству было очень трудно различить православных и «раскольников». Следует учесть и отношение к проблеме светской власти.

Окончательно вопрос мог бы быть прояснен, если бы сам Гончаров каким-либо образом указал на образ веры своих предков или оценил его. Однако романист почти не высказывался по поводу старообрядчества, нельзя сказать, что в его произведениях или письмах этот вопрос хоть сколько-нибудь акцентирован. Тем не менее добросовестности ради нужно, пожалуй, отметить некоторые факты, например, чтение Гончаровым «старообрядческой» повести Н.С. Лескова «Запечатленный ангел», которая упоминается в «Необыкновенной истории»²⁵. Кроме того, во время своего путешествия по Сибири Гончаров повсюду видел старообрядческие поселения. В главе «Обратный путь через Сибирь» он пишет: «Русские все старообрядцы, все переселены из-за Байкала. Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокентия²⁶ и его предшественников» (А. П. 652). Последнее высказывание почти с полной ясностью говорит о том, что старообрядчество не одобряется писателем.

Весьма характерным в этом плане представляется эпизод из цензурной деятельности Гончарова. В 1865 году в газете А.А. Краевского «Голос» (№ 33) была опубликована статья И.А. Острикова «Остзейский край со стороны религиозной нетерпимости». В статье вскрывались факты притеснения раскольников «со стороны неразумных ревнителей православия». Вокруг факта публикации статьи возникла интрига. А.А. Краевский как редактор газеты был привлечен к суду, причем – по настоянию министра внутренних дел П.А. Валуева. Вероятно, Гончаров мог смягчить позицию министра, что видно из обвинений товарища министра А.Г. Тройницкого в сторону Гончарова. Тройницкий упрекал Гончарова в том, что тот не выступил в Совете Главного управления по делам печати против решения министра привлечь Краевского к суду²⁷. Итак, Гончаров мог выступить, но не захотел. Кажется, все дело в том, что Гончаров последовательно не принимал старообрядцев – и всегда занимал здесь официальную позицию.

Небезынтересно взглянуть и на его поздний очерк «Христос в пустыне». Картина г. Крамского». Размышляя о зрителях, которые не могут принять изображения Иисуса Христа средствами живописи, Гончаров весьма категорично пишет о старообрядцах: «Сектанты наши, как известно, всякую другую иконопись, кроме византийской, старинного стиля, признают ересью» (VIII. 187). Логика же статьи самого Гончарова такова, что указанная оценка может восприниматься лишь как весьма негативная: «С большинством этой группы, стало быть, об искусстве рассуждать нельзя» (VIII. 187). При этом писатель употребляет такие оценочные по духу определения зрителей картины И.Н. Крамского, как «неразвитые» и «развитые». Очевидно, что критерий прогрессивности доминирует в сознании автора статьи. Вряд ли при таком, совершенно неслучайном, как мы увидим далее, умонастроении

Гончаров мог питать симпатию к старообрядчеству. Таково было и общее в то время восприятие старообрядчества, а именно: как сектантства. Много способствовала этому и официальная политика правительства по отношению к старообрядцам, особенно в эпоху Николая I.²⁸

Есть и еще одна сторона вопроса, едва ли не более важная. Старообрядчество Гончаров увидел в Симбирске в «обломовском» варианте. С точки зрения столь важного для Гончарова понятия, как «обломовщина», речь должна идти уже не о старообрядчестве и не о Православии вообще, а о застойности провинциальной жизни, о своеобразном преломлении христианского мировоззрения в повседневной жизни провинциального человека. С этой точки зрения старообрядчество Гончаров не мог принять категорически. На протяжении всей жизни Гончаров был весьма чуток к вопросу о превращении религии в обряд, о внимании лишь к внешней стороне духовной жизни. Неприятие старообрядчества для Гончарова сопрягается прежде всего вопросом о творчестве, истории, цивилизации – в рамках христианства. Это был едва ли не коренной вопрос его религиозных воззрений. Романисту была глубоко чужда эсхатологичность мирозерцания старообрядцев.

В знаменитом «Сне Обломова» Гончаров описывает родной город как место сна и покоя, место, в котором царит именно религиозный обряд, прикрывающий, по сути, полужылическое отношение к жизни. Здесь на первый план выступают сон и еда: «Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!» Вся эта картина как будто списана с жизни самого Гончарова в родном доме. Ведь здесь тоже царили довольство и достаток: «Дом у нас был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей в провинции, не имевших поблизости деревни. Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки – все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня».

Однако рядом с этим довольством – празднословие, пересуды, равнодушное отношение к ближнему (писатель упоминает, что обломовцы всем селом пошли посмотреть на упавшего в бессилии больного человека, потрогали вилами и ушли!). Православие в Обломовке крайне обытовлено, затрагивает лишь плотски-душевную жизнь человека и не касается его духовной жизни. Отсюда столь большое место суеверий в Обломовке. Здесь любят разгадывать сны: «Если сон был страшный – все задумывались, боялись не шутя; если пророческий – все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне.

Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры».

Не случайно Гончаров в своих произведениях очень много места уделяет изображению контраста в человеке внешней обрядовой набожности и внутреннего несовершенства. Особенно его поражало, видимо, такое понимание христианства, при котором на первый план выступал своеобразный «фатализм», а самостоятельность человека («Бог-то Бог, да и сам не будь плох») не принималась во внимание. Именно из этого, похоже, и выводил Гончаров феномен «обломовщины». В черновиках к роману «Обломов» еще лучше, чем в окончательной редакции, была прописана эта сторона жизни в Обломовке: «Впрочем, старик был доволен, если хороший урожай или возвысившаяся цена даст ему дохода больше прошлогоднего: он называл это благословением Божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег. «Отцы и деды не глупее нас были, – говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы, – да прожили век счастливо: проживем и мы: даст Бог, сыты будем». Получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему с семейством, чтоб быть с излишком сытым и одетым, он благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше. Если староста приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман, и со слезами ссылаясь на град, засуху, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал: “Воля Божья; с Богом спорить не станешь. Надо благодарить Господа и за то, что есть”...» (А. V. 112–113),

Такие картины окружали романиста с детства. Он сделал заключение, что в подобных случаях апелляция к Богу есть лишь оправдание собственной нерадивости, бездеятельности. Для обломовцев же это вопрос принципиальный. Они настаивают на том, что отсутствие деятельности не допускает и греха. В том типе Православия, которое исповедовалось в Обломовке (возможно, и в семье Гончаровых), приобретение считалось грехом. В черновиках к роману сказано, что Илья Ильич «уж был не в отца и не в деда. Он... учился, жил в свете. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что это долг всякого гражданина... частными стремлениями и трудами поддерживать общее благосостояние» (А. V. 115). А ведь это уже почти протестантский взгляд на приобретение. В Обломовке говорят о грехе тогда, когда нужно оправдать свою бездеятельность: «Если бы кто-нибудь из соседей, которые чужие дела знают лучше своих, вздумал породить в Обломове подозрение насчет бескорыстия приказчика, старик всегда качал головой и приговаривал: “Не грехи, брат, долго ли опорочить человека? ну а как неправда, что тебе на том свете за это будет?”...» (А. V. 113).

Язычество, суеверие, бездеятельность, неподвижность, чудным образом уживавшиеся с православным обрядом, видимо, произвели на будущего писателя гнетущее впечатление. Чем более он будет взрослеть, приходить в меру духовного возраста, тем более его будет интересовать проблема: как должны в идеале сочетаться в обыденности религиозные истины и жизненная практика. Гончаров жаждал религии, которая могла бы органично сочетаться с культурой, жизненным комфортом, цивилизацией. В Симбирске же он столкнулся с обрядоверием.

Если его отец и был старообрядцем, то он умер довольно рано, в сентябре 1819 года, когда будущему писателю едва исполнилось семь лет. В дальнейшем его воспитание, в том числе и религиозное, будет значительно скорректировано иными влияниями. Независимо от вопроса о старообрядчестве нельзя не отметить действительно глубокой религиозности Гончаровых по отцовской линии. М.Ф. Суперанский, отмечая самые характерные черты в роду Гончаровых, упоминает «глубокую религиозность, крепко соединенную с обрядностью, как и привязанностью к старому русскому быту вообще, отличавшие старшие поколения, включая брата и сестер писателя»²⁹.

Дед писателя, Иван Иванович Гончаров, был человеком не только религиозным, но и «книжным», что и проявилось в упомянутом «Летописце». Весьма заметную часть этой рукописной семейной книги занимают «Страсти Христовы». Иван Иванович Гончаров в 1720-х годах взял на себя своего рода духовный подвиг: несколько лет переписывал (и даже, возможно, обрабатывал³⁰) средневековое сочинение «Страсти Христовы», которое имело особенно широкое распространение именно в старообрядческой среде. В этом книжном памятнике подробно описывались последние дни жизни Иисуса Христа перед распятием. Нет сомнения, что еще в детстве маленький Иван Гончаров слышал чтение этой дедовской книги и держал «Летописец» в руках. Можно себе представить, что чувствовал и переживал впечатлительный мальчик, когда кто-нибудь из взрослых читал: «Наутрие же и возложиша на него великия железа на шию его и руце и приведоша его во двор Каиафе и тогда собравшася окаянии жидове малие и велице и с великою радостию яко во своих руках имеют его начата его бити по ланитам и пхаху и плеваху аки в простое лице и в пречистые его очеса и во святыя уста...» Несомненно, дед писателя имел творческие наклонности и скорее всего действительно не ограничивался механической перепиской памятника. О его склонности к живописанию свидетельствуют заключительные строки, содержащие выразительную метафору: «Во славу снятый единосущный и неразделимые Троицы Отца и Сына и Святаго Духа написежеся сия богодохновенная книга страсти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Лета от сотворения мира 7236 году от воплощения же Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1728 году сентября 14 дня солдатского сына Ивана Иванова Большаго Гончарова и писана в городе Синбирску от оного Ивана Гончарова много грешнаго ево рукою яко серна от тенет избавися и тако и аз от сего труда. Аминь»³¹.

После того, как в 1728 году Иван Иванович закончил обрабатывать «Страсти Христовы», он начинает списывать в «Летописец» повесть под названием «Повесть о крестном сыне». Повесть представляет собою апокриф, рассказывающий о том, как один бедный человек не мог найти крестного отца для родившегося сына: все гнушались бедностью этого человека. Однако, видя такую несправедливость, Сам Господь вызвался стать крестным отцом мальчика. Этот апокриф был широко известен, он зафиксирован и в собрании В.И. Даля. Дед писателя поясняет в конце, зачем он переписал эту повесть: «...Сие же написано бысть слышащим пользы ради»³². Читая указанные апокрифы, переложенные дедом писателя, удивляешься как религиозности совсем еще юного Ивана Ивановича Гончарова, так и его литературному дару. После опубликования «Летописца» можно не сомневаться, что писательский дар в семье Гончаровых был наследственным. Автор «Обломова» и унаследовал его от своего деда.

Мать: Авдотья Матвеевна (рожд. Шахторина)

Если Гончаровы по отцовской линии отличались глубокой религиозностью, то и мать писателя, Авдотья Матвеевна, урожденная Шахторина (1785–1851), судя по всему, была женщиной набожной – и в этом духе старалась воспитывать своих детей. Она происходила из купеческой семьи и вышла в 1803 году замуж за 50-летнего Александра Ивановича в 19 лет. О родной ее семье Шахториных в религиозном отношении ничего сказать нельзя за неимением сведений. Сама же Авдотья Матвеевна отличалась еще и необыкновенным умом, практичностью, деловитостью. О своей матери Гончаров вспоминал как о «необыкновенно умной, прозорливой женщине», она была для детей нравственным авторитетом, перед которым они «склонялись с не нарушенным ни разу уважением, любовью и благодарностью». Хотя Авдотья Матвеевна не получила образования, она была хорошей воспитательницей своих детей. «Мать любила нас, – отмечал Гончаров, – не той сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно будущего порока. Она была неумолима» (VII. 235). Семья получилась немаленькая: кроме Ивана, было еще трое детей. Брат Николай (1808–1873) стал учителем гимназии, а в конце 1850-х – начале 1860-х годов – редактором газеты «Симбирские губернские ведомости». Были еще сестры: Александра (по мужу Кирмалова, 1815–1896) и Анна (по мужу Музалевская, 1818–1898), Мать строго следила за воспитанием осиротевших в 1819 году детей. Следует прибавить, что иногда она прибегала даже к телесным наказаниям³³.

Как уже было сказано, Авдотья Матвеевна была религиозна. Известно, что даже дома она часто молилась и читала акафисты. Внук Авдотьи Матвеевны Александр Николаевич Гончаров вспоминал, что в ее комнате «был большой киот и постоянно горела синяя лампада»³⁴. Ежегодно, по заведенному обычаю, она присутствовала на исповеди в Спасо-Вознесенском соборе³⁵.

Судя по роману «Обломов», Авдотья Матвеевна пыталась приучить Ивана к молитве: «Став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

– Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? – вдруг спрашивал он среди молитвы.

– Пойдем, душенька, – торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова. Мальчик вяло повторял их, но мать влила в них всю свою душу» (Ч. 1. Гл. IX). О религиозном воспитании романиста можно получить представление и из романа «Обыкновенная история». Александр Адуев «вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей, как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион...» (Ч. 2. Гл. VI).

Как ни старалась Авдотья Матвеевна, мальчишеское, детское брало-таки верх. В черновиках очерка «На родине» Гончаров признается: «Убегаешь, бывало, к нему (крестному Николаю Николаевичу Трегубову. – *BJVf.*), когда предстояло идти ко всенощной, или в непогоду, когда она (мать. – *В.М.*) шила, читать ей вслух, или пока она молится, стоя на коленях,

Акафист Спасителю...»³⁶. В доме Гончаровых было множество образов, перед которыми домочадцы будущего писателя молились, а мать читала акафисты. Биограф Гончарова Е. Ляцкий, очевидно, опираясь на устные воспоминания самого писателя или иных свидетелей, отмечал, что в доме Гончаровых «находили приют юродивые; стекались и множились рассказы о святых местах, чудесах, исцелениях»³⁷. По смерти Авдотьи Матвеевны «большой киот» был, видимо, расформирован. Александр Николаевич, племянник Гончарова, рассказывал: «Из старого гончаровского наследства всем нам досталось по два, по три образа. Я получил два образа, из которых один – образ Спасителя в тяжелой позолоченной ризе. У Ивана Александровича, на Моховой, в задней комнате, также было несколько образов из старого гончаровского дома».³⁸

Скорее всего именно в Симбирске Гончаров узнал простонародный обычай «клятвенно побожиться», сняв со стены образ и поцеловав его. В романе «Обломов» Анисья успокаивает Илью Ильича, «сказав ему, что никто о свадьбе ничего не говорил: вот побожиться не грех и даже образ со стены снять» (Ч. 3. Гл. IV). В другом месте Анисья говорит, что «хозяйка тоже готова снять образ со стены», что слух о свадьбе «выдумал, должно быть, враг рода человеческого» (Ч. 3. Гл. VI). Вообще в Симбирске, прежде всего, видимо, усилиями Авдотьи Матвеевны, заложены были основы религиозного мировосприятия писателя, так называемого «народного Православия». Нельзя умолчать о замечательном факте, относящемся до религиозной жизни Авдотьи Матвеевны. Скончалась она в день Святой Пасхи. В «Летописце» имеется запись: «1851-го года 11-го апреля на Пасху в среду скончалась Авдотья Матвеевна Гончарова на 65-м году от рождения, урожденная Шахторина, от удара, а погребена 13-го апреля на кладбище Всех Святых»³⁹. Своей сестре Александре Александровне Гончаров писал 5 мая 1851 года: «Притом жизнь ее, за исключением неизбежных человеческих слабостей, так была прекрасна, дело ее так было строго выполнено, как она умела и могла, что я после первых невольных горячих слез смотрю покойно, с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни и горжусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней».

Говоря о религиозной атмосфере, сложившейся в семье Гончаровых, Е. Ляцкий отмечал: «Иван Александрович не ушел далеко от своих предков в этом отношении, а все Гончаровы были очень религиозны – у некоторых членов их рода религиозность доходила до мании. Таков был брат писателя, вынесший эту черту, несомненно, из родительского дома и впоследствии развивший ее до крайности. Сын его, Александр Николаевич, с ужасом вспоминал хождения по церквам после систематических субботних порок и пинки в поощрение молитвенного усердия»⁴⁰. Можно отметить, что Николай Александрович был в вопросах религиозного быта более традиционным человеком, нежели его петербургский брат.

Как бы то ни было, родители Гончарова создали в семье атмосферу религиозного благочестия, которую Иван Александрович впитал в детстве. Несомненно, что в своей семье писатель получил серьезную религиозную закваску. Рядом с домом Гончаровых находилось несколько храмов, Храм Вознесения находился не более чем в ста метрах от дома Гончаровых (ныне его не существует), на Большой Саратовской улице, и, конечно, по воскресным дням и православным праздникам мальчик Гончаров ходил либо туда, либо в храм Живоначальной Троицы вместе с матерью на службы.

Не случайно о «всенощных», которые нужно было ему посещать вместе с матерью, упоминает он в очерке «На родине». Как мы увидим далее, впоследствии это помогло ему встать на путь личного благочестия, сохранить в либеральной среде, чуждавшейся религиозной горячности и считавшей ее «манией», глубокую веру в Бога, быть вполне воцерковленным человеком. Решающая роль в этом, конечно, принадлежала его матери.

Крестный Николай Николаевич Трегубов

Отец Ивана Александровича умер, когда будущему писателю было всего семь лет. После смерти Александра Ивановича многие заботы о воспитании детей взял на себя их крестный отец, отставной моряк, дворянин Николай Николаевич Трегубов. В биографиях Гончарова о нем почти ничего не говорят. Единственное издание, дающее хотя бы некоторые представления о жизненной канве Трегубова, это энциклопедический словарь «Русское масонство». Поскольку биография Трегубова до сих пор неизвестна, позволим себе более подробный рассказ о ней. В упомянутом словаре сказано, что в 1784 году Трегубов поступил в Инженерный корпус кадетом. В 1788-м состоял при знаменитом полководце А.В. Суворове для связи с гребной флотилией. В 1789 году произведен в лейтенанты артиллерии и определен в Черноморский флот. На корабле «Преображение» участвовал в 1790 году в сражениях с турецким флотом при Керченском проливе и у Гаджибея, а в 1791-м – у Калиакрии. До 1797 года плавал на транспортных судах в Черном море. В ноябре 1798 года уволен от службы в чине капитан-лейтенанта, но продолжал служить артиллеристом на военном корабле. Участвовал в сражениях с французами в Средиземном море, в блокаде итальянских портов. Затем его следы обнаруживаются уже в Симбирске, где была одна из самых сильных в России масонских лож. И здесь карьера его быстро набирает высоту. В 1803–1814 гг. бывший морской офицер служит председателем Симбирской палаты уголовного суда, становясь в 1812 году надворным советником. В 1821–1822 гг. он уже судья палаты совестного суда, помещик. Умер Трегубов в 1849 году.⁴¹ Сам Гончаров в воспоминаниях «На родине» говорит о нем следующее: «Добрый моряк окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему детскими сердцами, забыли о настоящем отце. Он был лучшим советником нашей матери и руководителем нашего воспитания.

Якубов (под этой фамилией Гончаров описывает в очерке Трегубова. – В.М.) был вполне просвещенный человек. Образование его не ограничивалось техническими познаниями в морском деле... Он дополнял его непрестанным чтением – по всем частям знания, не жалел денег на выписку из столиц журналов, книг, брошюр...» (VII. 234).

Заступивший место отца Трегубов отчасти смягчал строгую систему воспитания матери. Он был, по словам Гончарова, «отец-баловник... Баловство – не до глупой слабости, не до излишества – также необходимо в детском воспитании. Оно порождает в детских сердцах благодарность и другие добрые, нежные чувства. Это своего рода практика в сфере любви, добра. Сердце, как и ум, требует развития.

Бывало, нашалишь что-нибудь: влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню – она (мать. – В.М.) узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная с зовом: «Пожалуйте к маменьке!» – «Пошел» или «Пошла вон!» – лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает – и дело ограничивается выговором вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый» (VII. 235). Гончаров всю жизнь вспоминал о нем, что это был человек «редкой, возвышенной души, природного благородства и вместе добрейшего, прекрасного сердца». «Особенно, – писал он, – ясны и неоцененны были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли, все то, что не умели или не хотели сделать мои школьные наставники» (VII. 238).

Именно Трегубову обязан Гончаров своим путешествием на фрегате «Паллада». Бывший моряк, сам освоивший Черное и Средиземное моря, видимо, мечтал о большем и, как это часто бывает, свои несбывшиеся надежды хотел воплотить в «подрастающем поколении». Он буквально заразил маленького Гончарова мечтой о кругосветном путешествии. В библиотеке Трегубова было множество книг о кругосветных плаваниях. Книги эти маленький Ваня «жадно поглощал». Подолгу смотрел он на морские инструменты, находившиеся во флигеле крестного: на телескоп, секстан, хронометр. В заключение бесед со своим любимым воспитанником Трегубов говаривал: «Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские кампании... то-то бы порадовал меня!» Еще ребенком Ваня целые часы мечтательно вглядывался в широкую пелену волжских вод с высокого городского обрыва: «Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника, – для будущего моего дальнего странствия» (VII. 239).

Влияние Трегубова и его роль в семье Гончаровых были очень велики. Например, племянник романиста Александр Николаевич Гончаров в своих воспоминаниях отмечал: «Музалевские имели очень хорошие по тому времени средства: Трегубов оставил Анне Александровне (родной сестре Гончарова. – В.М.) около десяти-двадцати тысяч рублей и до двухсот десятин земли вблизи Симбирска»⁴².

Однако что представлял собою Трегубов как религиозная личность, как влиял он на Гончарова в детстве в этом отношении? Собственно, о религиозном его влиянии писатель не упоминает ни разу. Однако ясно, что общее влияние крестного было слишком велико. Трегубов был масоном и человеком скорее атеистического, чем религиозного склада. Следует помнить, что Симбирск был традиционно сильным масонским центром. Лишь после 14 декабря 1825 года, когда правительство стало преследовать масонские ложи в России, все масоны в Симбирске, как отметил в своих воспоминаниях Гончаров, «пошили себе мундиры; недавние атеисты являлись в торжественные дни на молебствия в собор... «Крестный» мой... под ферулой прежнего страха, тоже вторил другим» (VII. 247).

Никто из советских и позднейших биографов Гончарова не упоминает о том, что Николай Трегубов в конце жизни сильно изменился. Однако известно, что, будучи тяжело больным и приближаясь к преждевременной смерти, крестный отец Гончарова сознавал свое положение как наказание за грех. Он резко меняет свое отношение к церкви. Е. Ляцкий в своей книге пишет: «Перед смертью Якубов (под этим именем выведен Трегубов в очерке Гончарова «На родине». – В.М.), этот масон и вольнодумец в Екатерининском вкусе, раскаялся и, как передает г. Потанин со слов племянника Ивана Александровича, «говел всю Страстную неделю, лакеи таскали его, безногого, к заутрене, к обедне, к вечерне и, главное, непременно к заутрене»...»⁴³.

Священник Федор Степанович Троицкий

За Волгой, в селе Репьевка, существовал пансион «для местных дворян»⁴⁴, который содержала Екатерина Павловна Хованская, дочь соратника Суворова – генерала П.И. Ивашева и сестра декабриста В.И. Ивашева, члена «Южного общества». Здесь Гончаров воспитывал три года (в 1820–1822 гг.) священник Федор Степанович Троицкий, образ которого скорее всего представлен в романе «Обрыв». Е. Ляцкий пишет, что он был «воспитанник казанской академии, человек просвещенный и, можно думать, широко образованный»⁴⁵. Сам же Гончаров в своей первой автобиографии называет Троицкого «сельским священником, весьма умным и ученым человеком» (VIII. 221). Это был «прогрессивный» священник. Он изящно одевался, читал светских философов и писателей. В пансионе Гончаров впервые понял, что такое библиотека. Более всего ему запомнились сочинения Г.Р. Державина, которые он «переписывал и учил наизусть», Д.И. Фонвизина («Недоросль»), В.А. Озерова.

Помимо немецкого и французского языков, в пансионе маленький Гончаров изучал, между прочим, Закон Божий и Священную историю. В романе «Обрыв» рассказывается, что Райский учился в школе вроде пансиона, откуда иногда приезжал домой. В этой школе «священник толковал историю Иова, всеми оставленного на куче навоза, страждущего». Образ св. Иова пройдет через все творчество Гончарова. Во многом он сам уже в старости признавал прожитую жизнь в свете этого библейского образа. Не в сельском ли пансионе было положено отцом Федором начало глубокой жизненной философии Гончарова? В таком случае священник Троицкий – далеко не проходной образ в биографии писателя.

Женат отец Федор был на лютеранке, перешедшей в Православие. А в романе «Обрыв», может быть, неслучайно, священника герои зовут непривычно: по имени-отчеству (Николай Иванович), да и в круг чтения этого батюшки входят такие мыслители, как Б. Спиноза, Ф. Вольтер, Л. Фейербах... Может быть, на этот раз следует поверить сбивчивым и не всегда правдивым воспоминаниям писателя Г.Н. Потанина, который подчеркивает некоторую светскость в образе отца Федора: «Почтенный протоиерей... был весьма замечательный человек; он кончил курс в академии и присватался к местной гувернантке Лицман; та приняла Православие и превратилась в попадью, а он после посвящения получил место попа в родное село Архангельское и, точно в знак благодарности, принял от жены фамилию Лицман». В доме Гончаровых я часто видел протоиерея Троицкого, уже стариком, но и тогда он был красавец и щеголь, одевался в бархат, имел приятный голос, живо, увлекательно говорил, а от братии своей попов отличался особенно изящными манерами и умел держать себя корректно.» В доме Гончаровых протоиерей Троицкий был такая почетная личность, что его встречали как архиерея»⁴⁶.

Вот такой несколько европеизированный батюшка воспитывал в детстве Гончарова. В его библиотеке нашел маленький Ваня Гончаров, помимо упомянутых русских классиков, путешествия Д. Кука, С.П. Крашенинникова на Камчатку, Мунго-Парка в Африку, исторические книги К.Ф. Милота, Н.М. Карамзина, И.И. Голикова, тут же произведения Ж. Расина, Т. Тассо, Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Л. Стерна, А. Радклиф, М.В. Ломоносова.

Гончаров в своей автобиографии уже в конце 1858 года все еще считает важным отметить, что батюшка был «женат на иностранке» (первая автобиография). В последней автобиографии он уже обойдет этот факт молчанием, не станет придавать ему столь большого значения. Пансион отца Федора дал первую цивилизационную прививку душе Гончарова. Вряд ли религиозная обстановка в родной семье позволяла мальчику понять, что религиозность и цивилизованность совместимы, что религия может находить выход в вопросы культуры. Отец Феодор был первым, кто словом и делом мог направить ум Гончарова по тому

пути, который приведет его в последующем к настоящим религиозным исканиям – в рамках означенной проблематики. Гончаров никогда не изменял евангельским идеалам, все более и более утверждаясь в них. И вместе с тем любимыми словами писателя до конца жизни останутся «культура», «гуманитет», «цивилизация», «комфорт». Его религиозность по своему духу в значительной степени предшествовала тому типу религиозности, который сложился в интеллигентской среде начала XX века.

Симбирск и святой блаженный Андрей (Огородников)

Нельзя не отметить еще один важный фактор религиозного воспитания Гончарова: самый Симбирск, его религиозную атмосферу. Уже в 1648 году, когда был основан Симбирск, в нем было 18 церквей и 3 часовни⁴⁷. В начале 1832 года в Симбирской губернии было уже 603 приходские церкви⁴⁸. В 1698 году был основан Покровский мужской монастырь⁴⁹. Одновременно с Симбирским кремлем начал строиться Спасский женский монастырь, располагавшийся в нескольких сотнях метров от дома Гончаровых.

Симбирск относился к тем благодатным местам, в которых не иссякало народное благочестие. Недаром здесь одновременно с Гончаровым возрастал на примерах этого благочестия известный «Серафимов служба» Николай Александрович Мотовилов, который был старше

Ивана Александровича всего на три года. Были в Симбирске свои святые и легенды, мимо которых вряд ли прошел маленький Иван Гончаров. Нельзя не упомянуть здесь известный факт явления иконы святителя Николая Угодника в селе Промзино. Это чудесное явление знали все симбиряне, да и не только симбиряне, но и жители соседних губерний. Почитание «Николиной горы» зародилось издавна и продолжается до сих пор. Явление этой иконы предание связывает с защитой села Промзина-Городища от набега кубанских татар в XVI веке. В 1552 году к Промзину подошли полчища кубанских татар и приготовились к переправе через холодную и прозрачную реку Суру. Небольшой гарнизон Городища ожидал неминуемой гибели. Но внезапно нападавшие остановились. Один из сторожевых воинов, знавший татарский язык, переправился через Суру в стан кубанцев. Он спросил: «Что стоите вы здесь вот уже столько времени?» Ему отвечали: «Разве ты не видишь, какой ужас перед нами? Вокруг нас непроницаемая мгла, среди которой на горе в необыкновенном сиянии стоит какой-то величественный старец с изображением вашего храма в одной руке и с мечом в другой. Рядом с ним на коне, со смертоносным копьём еще какой-то грозный юноша, готовый ринуться на нас тотчас, как только мы осмелимся сделать хоть шаг вперед... Мы желали бы возвратиться скорее домой, но сзади нас такой дремучий лес, которым мы как будто и не шли сюда. Наверно, за землю вашу вступился сам Бог ваш и грозит нам своим мечом».

Взглянул воин на Белую гору и увидел на ней величественного старца и рядом с ним грозного юношу-воина. В них он узнал святого Николая Чудотворца и святого великомученика Георгия Победоносца. Воин показал татарам обратный путь, и они обратились в бегство, а сам он возвратился в Городище и рассказал о всем виденном. Жители поспешили на Белую гору, а во главе их поехал воин, говоривший с кубанцами. На вершине горы конь вдруг споткнулся и пал передними ногами на колени. Оказалось, что он стоит на коленях перед иконой святителя Николая Чудотворца, скрытой в земле. Народ с благоговением поднял икону.

Икона эта существует и доныне. В гончаровские времена она хранилась в селе Промзино, но приведенную легенду о ней Гончаров скорее всего слышал. Может быть, не лишним будет отметить, что она пользовалась большим уважением у старообрядцев⁵⁰. Были и в самом Симбирске чудотворные иконы (прежде всего образ Смоленской Божией Матери), которые, без сомнения, почитала мать писателя⁵¹. Почитание Смоленской Божией Матери в доме Гончаровых, между прочим, отразится и в романе «Обломов», о чем будет сказано позже подробно. Но главной «религиозной достопримечательностью» Симбирска был Андрей Ильич Огородников.

В дни гончаровского детства нередко были поездки симбирян к великому подвижнику русской земли преподобному Серафиму Саровскому. А тот им говорил: «Зачем это ко мне,

убоному, вы трудитесь приходить – у вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич...» И вправду Андрей Ильич, в 1998 году прославленный Церковью как местночтимый святой, а в 2004 году – как святой всей Русской Православной Церкви, был душой старого Симбирска XIX века, его заступником и Ангелом-хранителем. Это был человек великих дарований, в городе его все знали и любили.

Блаженный Андрей Ильич почитался всеми симбирянами, независимо от того, к какому сословию они принадлежали, – как заступник, хранитель Симбирска. Тогда это был весьма небольшой дворянско-купеческий городок, так что жизнь Андрея Ильича проходила, можно сказать, на глазах у всех горожан – потому-то многие эпизоды его жизни сохранились в народной памяти. Деревянный Симбирск, как известно, неоднократно горел. Однако при жизни Андрея Ильича в городе ни разу не было больших опустошительных пожаров. Интересно, что после смерти святого пожары в Симбирске возобновились. Андрей Ильич еще с раннего детства взял на себя подвиг молчаливности и объяснялся жестами. Все горожане знали о том, что каждое действие Андрея Ильича имеет потаенный смысл. Если он давал кому-то деньги, то человеку этому способствовал успех в делах или повышение по службе. Если же блаженный Андрей подавал человеку щепку или горсть земли – то это было знаком скорой кончины. Часто предупреждал он людей о смерти, готовя их к христианской кончине, и тем, что приходил к ним в дом и, вытягиваясь, подобно покойнику, ложился под образами в переднем углу.

Блаженный не только отказался от многих условностей, от обуви, одежды, Аскеза его превосходила всякое воображение. Известны случаи, когда он мог прямо из огня вытаскивать руками чугунные горшки. Много раз целовал Андрей Ильич кипящий самовар, и при этом если обливался кипятком, то нисколько не страдал из-за этого. Горожане часто видели его стоящим босиком в сугробах по целым ночам. Часто стоял он почти нагой на перекрестке улиц и, покачиваясь с боку на бок, переминаясь с ноги на ногу, повторял: «Бо-бо-бо», Особенно часто простаивал он в снежных сугробах ночи перед алтарем Вознесенского собора, который находился на Большой Саратовской улице, то есть прямо около дома Гончаровых. Там его не раз заставлял стоящим в снегу священник В.Я. Архангельский, который и был духовником блаженного. В сильные зимние морозы стоял Андрей Ильич в холодной воде озера Маришка. Умер блаженный в 1841 году. В это время Гончарову было уже 29 лет, он успел окончить Московский университет, послужить год секретарем канцелярии у симбирского губернатора Александра Михайловича Загряжского, а затем получить место, не без помощи того же Загряжского, в Министерстве финансов в Санкт-Петербурге.

Глубоко религиозная мать Ивана Александровича, несомненно, как и все горожане, почитала святого человека. Если св. блаженный Андрей чаще всего переминался с ноги на ногу именно у Вознесенского собора, то маленький Гончаров его, несомненно, видел неоднократно. В Музее И.А. Гончарова ныне хранится портрет св. блаженного Андрея Симбирского, написанный, очевидно, при его жизни и хранившийся в доме Гончаровых. История портрета пока не раскрыта. В книге, посвященной блаженному Андрею, сказано, что этот портрет «находился над письменным столом писателя-симбирянина И.А. Гончарова, упоминавшего блаженного в своих произведениях»⁵². Однако Иван Александрович почти никогда не упоминал о представителях так называемого народного Православия, о юродивых, прорицателях, аскетах (гораздо понятнее и ближе ему был христианский ученый-мыслитель блаженный Августин, с трудами которого автор «Обрыва» действительно был знаком). Хотя во «Фрегате «Паллада» встретится фигура «сибирского Иова» – типичного представителя народного Православия, напомнившего, вероятно, писателю о родном Симбирске и его нравах. Гончаров, несомненно, много слышал о блаженном Андрее как об одной из главных живых достопримечательностей Симбирска.

Но как ни хороша идиллическая картина, а достоверно известно, что портрет блаженного Андрея никогда не висел над письменным столом «писателя-симбирянина» Гончарова. Ни в одной автобиографии, ни в воспоминаниях «На родине», ни в романе «Обрыв» – нигде не говорит романист об этой живой легенде Симбирска⁵³. Лишь один раз в письме к сестре, Анне Александровне Музалевской, от 20 сентября 1861 года он напишет о своем племяннике Викторе Михайловиче Кирмалове: «По возвращении моем сюда, застал я его бледна, изнуренна, крайне лохмата местами, под мышцами более, в изодранном одеянии и при том без калош по грязи ходяща, так что если бы он выучился мерно произносить: би, би, бо, бо, бо, – так мог бы с большим успехом поступить в должность симбирского Андреюшки, которую тот с таким успехом исправлял в течение 30 или 40 лет»⁵⁴.

Помнил Иван Александрович блаженного Андрея Ильича хорошо. Так хорошо, что и называет его так, как звали большинство горожан: «Андреюшка». Есть основания предполагать, что блаженный Андрей, часто заходивший в дома симбирян, бывал и у Гончаровых. Может быть, устные воспоминания родственников Гончарова дали Е. Ляцкому основание сказать о том, что в доме Гончаровых «находили приют юродивые». Если о юродивых здесь сказано столь неопределенно, то в первую очередь следует предположить, что речь идет о блаженном Андрее Ильиче Огородникове, Именно он мог посетить богобоязненных Гончаровых. Других юродивых в то время в Симбирске не было. Не отсюда ли и портрет блаженного Андреюшки в доме Гончаровых? В любом случае ясно, что еще в детстве будущий писатель не прошел мимо этого святого. Это была его первая встреча со святым человеком. Впоследствии ему будет суждена еще одна такая же встреча (со святителем Иннокентием Вениаминовым). Но тогда он уже сумеет оценить ее и даже подробно описать в своей книге «Фрегат «Паллада».

Среди святынь, которые ценили симбиряне, был и Свято-Троицкий монастырь в городке Алатыре Симбирской губернии, в то время еще очень обширной. Еще в середине XVIII века, в 1748 году, найден был в монастыре гроб с нетленными мощами схимонаха Вассиана. С тех пор место его погребения привлекало к себе много народа. У мощей схимонаха Вассиана совершалось много исцелений⁵⁵.

Таким образом, в родном Симбирске были заложены надолго духовные основы всей жизни Гончарова. Здесь не все было равнозначно: крепкая религиозность семьи дополнялась впечатлениями от религиозного индифферентизма крестного Трегубова, а обучение у весьма «прогрессивного» батюшки Федора Степановича Троицкого – разговорами или, может быть, даже общением с блаженным Андреем Ильичом Огородниковым и его святым благословением. Таким образом, Гончаров уже в детстве причудливо соединил в себе традиционную православную провинциальную религиозность с тяготением к цивилизации и культуре.

Годы учения. Москва

Постановка преподавания в Московском
коммерческом училище

Религиозное становление личности Гончарова продолжилось в Москве, во время обучения его в Коммерческом училище и в Московском университете. Московская жизнь Гончарова начинается в Коммерческом училище (1822–1830). Будущий писатель попадает в это своеобразное учебное заведение в десятилетнем возрасте и выходит из него юношей восемнадцати лет.

8 июля 1822 года Авдотья Матвеевна Гончарова записала в семейном «Летописце»: «Сего числа отправлен Ванечка в Москву». Определяла Ванечку в училище подполковница Анна Чекалова, очевидно, знакомая семьи Гончаровых. «Подполковница Анна Чекалова, – говорилось в прошении, поданном директору Коммерческого училища, – желает отдать, по препоручению симбирской купеческой жены вдовы Авдотьи Гончаровой, сына ее Ивана от роду 10-ти лет в число полных пансионеров Училища, который читать и писать по-русски, немецки и французски умеет и обе части арифметики знает достаточно; обучался также Закону Божию, Священной истории, российской грамматике и основаниям всеобщей географии»⁵⁶.

Для Авдотьи Матвеевны Москва, конечно, была прежде всего городом русских православных святынь, «сорока сороков» златоглавых храмов⁵⁷. Здесь в Чудовом монастыре почитали мощи святителя Алексия, многие симбиряне хаживали на поклонение преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиеву Лавру. Но самого Ивана Александровича Москва манила не храмами. Повез его в Москву крестный Николай Трегубов. Коммерческое училище считалось образцовым. Над ним шефствовала сама Императрица Мария Федоровна⁵⁸. Как раз в то время, когда в стенах училища обучался Гончаров, Император Николай I посетил это учебное заведение в 1826 году. Скорее всего государь прибыл вместе со своей матерью, вдовствующей Императрицей Марией Федоровной, которая была официальным шефом Московского коммерческого училища. Тогда-то, вероятно, и увидел ее Гончаров. И запомнил на всю жизнь, продолжая и впоследствии интересоваться ее личностью и благотворительной деятельностью. В неопубликованном письме к своему доброму знакомому, члену Попечительного совета заведений общественного призрения в Петербурге Кесарю Филипповичу Ордину, от 18 февраля 1878 года Гончаров весьма горячо отзываясь о ее личности: «Вы не подозреваете, какой живой интерес имеет для меня Ваша книга⁵⁹, независимо от ее литературных и внешних достоинств издания. Для меня идеалы величайшей в мире женщины воплощаются в лице Императрицы Марии Федоровны (которую я видел в детстве в Москве): она – моя настоящая героиня!

Если б не старость и не лень, если б у меня было побольше таланта – и именно такого, какой нужен, – я избрал бы себе задачею быть ее – не биографом (это мелко и мало для ее жизни), а историографом. Нужно большую силу таланта, ума и много любви к добру, чтобы изобразить этот образ, или «воплощение добра и милосердия», как Вы сказали в своей речи.

Вот по каким причинам и Ваша книга, и еще другая (Переписка Нелединского-Мелецкого, изд<анная> княз<ем> Оболенским) имеет для меня особенный, драгоценный интерес материалов для будущего памятника ее жизни»⁶⁰. Напомним, что Мария Федоровна (1759–1828) – вторая жена Павла I, до перехода в Православие – София-Доротея-Августа-Луиза, Благодаря ее покровительству и содействию в царствование Александра I основано несколько женских учебных заведений в Санкт-Петербурге, в Москве, Харькове, Симбирске и других городах.

В училище преподавали бухгалтерию, коммерческую арифметику, математику, технологию, коммерческую географию, историю, риторику, словесность и чистописание на трех языках – русском, немецком и французском, законоведение, рисование, церковное и светское пение и танцы. Образовательный курс был рассчитан на восемь лет и разделен на четыре «возраста»⁶¹.

Документальных сведений о московском периоде жизни Гончарова почти нет⁶², В Московском коммерческом училище, по утверждению самого Гончарова, большинство предметов преподавалось весьма скучно и примитивно. В письме к брату Н.А. Гончарову от 29 декабря 1867 года романист писал: «Об училище я тоже не упомянул ничего в биографии, потому что мне тяжело вспоминать о нем, и если б пришлось вспомнить, то надо бы было упомянуть лихом, а я этого не могу, и потому о нем ни слова. По милости тупого и официального рутинера, Тита Алексеевича, мы кисли там 8 лет, 8 лучших лет без дела! Да, без дела. А он еще задержал меня четыре года в младшем классе, когда я был там лучше всех, потому только, что я был молод, то есть мал, а знал больше всех. Он хлопотал, чтобы было тихо в классах, чтоб не шумели⁶³, чтоб не читали чего-нибудь лишнего, не принадлежащего к классам, а не хватало ума на то, чтобы оценить и прогнать бездарных и бестолковых учителей, как Алексей Логинович, который молел, сам не знал от старости и от пьянства, что и как, а только дрался линейкой, или Христиан Иванович, вбивавший два года склонения и спряжения французского и немецкого, которые сам плохо знал; Гольтеков, заставлявший наизусть долбить историю Шрекка и ни разу не потрудившийся живым словом поговорить с учеником о том, что там написано, И какая программа: два года на французские и немецкие склонения и спряжения да на древнюю историю и дробь; следующие два года на синтаксис, на среднюю историю (по Кайданову или Шрекку) да алгебру до уравнений, итого четыре года на то, на что много двух лет! А там еще четыре года на так называемую словесность иностранную и русскую, то есть на долбление тощих тетрадок немца Валентина, плохо знавшего по-французски Тита и отжившего ритора Карецкого! А потом вершина образования – это естественные науки у того же пьяного Алексея Логиновича, то есть тощие тетрадки да букашки из домашнего сада, и лягушки, и камешки с Девичьего поля; да сам Тит Алексеевич преподавал премудрость, то есть математику 20-летним юношам и хлопотал пуще всего, чтоб его боялись!

Нет, мимо это милое училище!..»⁶⁴.

Другие воспитанники Коммерческого училища оставляли о нем также нелицеприятные отзывы. Так, некто С-ов в своих воспоминаниях писал, что директор училища Тит Алексеевич Каменецкий – «человек чрезвычайноискательный, хитрый и вкрадчивый... а la Чичиков... Образования он был весьма недалекого, особенно для занимаемого им поста»⁶⁵. Историк С.М. Соловьев приходил в училище к отцу, служившему там в те годы, когда там обучались Гончаров и его брат Николай. Он отмечал: «Учили плохо, а учителя были допотопные»⁶⁶.

Учился Иван Гончаров без особой охоты. Многие предметы были ему чужды. 1 июля 1826 года педагогическая конференция отметила: «Иван Гончаров, хотя по числу баллов и заслуживал бы награждения, но, как пробыл в классе вместо одного два двухлетия, и, как по сему, так и по летам своим долженствовал бы оказать лучшие успехи пред всеми учениками того класса, в коем находился, и притом шалостлив, – то Конференция, не признавая его достойным отличия, почитает справедливым и достаточным переместить токмо во 2-й возраст»⁶⁷. Но мальчик не терял времени даром. В письме к Великому князю Константину Константиновичу Романову от января 1884 года он вспоминал: «Я, с 14-15-летнего возраста, не подозревая в себе никакого таланта, читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно... И все это было без всякой практической цели, а просто из влечения писать,

учиться, заниматься, в смутной надежде, что выйдет что-нибудь»⁶⁸. Именно в это время, в середине 1820-х гг., Гончаров познакомился с сочинениями Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского, а главное – А.С. Пушкина.

Учитель «Закона веры» – протоиерей Михаил Васильевич Соловьев

О духовной жизни Гончарова в Коммерческом училище ничего не известно. Разве что исследователь А. Рыбасов не без иронии отметил в своей книге о писателе: «Однообразно текла повседневная жизнь училища. День начинался и кончался по звону колокола, висевшего на небольшой башне во дворе. Каждое утро и вечером, перед сном, воспитанников в строгом порядке выводили на молитву, Согласно предписанным правилам, они делали поясные и земные поклоны, то воздевая очи свои горе, то опуская смиренно их долу... В праздники и воскресенья их вели в школьную церковь. Церковный хор из воспитанников училища славился на всю округу, привлекая в приход именитых особ и доставляя «августейшую» похвалу директору»⁶⁰.

Известно, что в училище велось преподавание Закона Божьего. Этот предмет по бумагам Коммерческого училища значится как «Закон веры». Так вот, в «Законе веры» Иван Гончаров «оказал успехи... очень хорошие»⁷⁰. Знания его действительно были крепкие. Даже позже, уже в старости, Гончаров гордился своими познаниями в этом предмете и преподавал его сам своей воспитаннице Сане Трейгут. В письме к графине А.А. Толстой он писал в 1878 году: «Самоотвержение мое заключается... в... ежедневном труде обучения их (детей покойного слуги. – В.М.) грамоте русской, арифметике, письму и закону Божию, да и закону Божию, который я тоже немного понимаю, и полагаю, что меня не собьет с пути и не опровергнет не только моя воспитанница Саня... но даже... и Вы, Графиня!»⁷¹.

В списке служащих Коммерческого училища за 1826 год числится и священник, преподаватель Закона Божьего Михаил Васильевич⁷². К сожалению, его фамилия отсутствует в публикуемых документах. Зато она названа в статье И.П. Ярославцевой о святителе Филарете (Дроздове)⁷³. Кто же этот Михаил Васильевич? Оказывается, законоучителем и настоятелем в Московском Коммерческом училище был ни много ни мало отец знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева и дед философа Владимира Соловьева – протоиерей Михаил Васильевич Соловьев (ум. в 1861 г.).

Имя его до сих пор не значилось в списке знакомых Гончарова. Это был весьма просвещенный человек, к тому же снисходительный и добрый. Известно, что, как истинный священник, он никогда никого не осуждал. Этому, видимо, учил и своих воспитанников. Он был очень ласков с детьми. Михаил Васильевич всю жизнь (43 года) прожил при Московском Коммерческом училище и в 1860 году перевелся на священническое место при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Левшине. Там он очень тосковал о Коммерческом училище. «О нем сохранилась память, как о «пламенно верующем служителе алтаря» (по словам С.М. Лукьянова). Дети С.М. Соловьева чрезвычайно любили дедушку и очень его уважали, считая его почти святым»⁷⁴. Получив образование в Славяно-греко-латинской академии, Михаил Васильевич отличался начитанностью, свободно говорил по-французски, всю жизнь пополнял личную библиотеку, хорошо знал греческий язык. Хотя у нас нет пока сведений о деятельности отца Михаила в Коммерческом училище, о том, как преподавал он свой предмет, можно видеть, что в письме к брату Гончаров не отмечает Закон Божий среди других плохо преподаваемых предметов и не упоминает отца Михаила в своем критическом эссе. Надо думать, что все-таки священник Соловьев, умевший привить любовь к знаниям своему сыну, будущему знаменитому историку, отличался от тех преподавателей Коммерческого училища, которых не мог вспомнить добрым словом Гончаров.

Вера отца Михаила была живая. Он мечтал, чтобы его дети и внуки наследовали священство. Известно, что он пытался определить своего сына сначала в духовное училище. И лишь видя, что Сергей Михайлович не проявляет никакого интереса к священству, но со всею страстью отдается науке, решил не противиться наклонностям сына. Также известно, что Михаил Васильевич «некогда привел его (Владимира Соловьева. – В.М.), ребенка 7–8 лет, в алтарь, поставил на колени перед престолом и, произнеся пламенную молитву, благословил его на служение Богу»⁷⁵. Не вина Михаила Васильевича, что его сын и внук избрали для себя иное поприще. Очевидно, что при таком духовном настрое живую любовь к Богу прививал отец Михаил и воспитанникам Коммерческого училища. Конечно, надо учесть, что в столь нежном возрасте и притом в казарменной обстановке училища Иван Гончаров вряд ли всерьез задумывался о духовных вопросах. Его духовная жизнь была наполнена в училище изучением Закона Божьего, посещением церковных служб. Надо учесть и то, что рядом с ним в училище был его брат – Николай Александрович, человек крепкой традиционной веры «без умствований».

По воскресным дням будущий писатель посещал Никитский женский монастырь. Московское коммерческое училище находилось в центре Москвы, на Остоженке. От Остоженки до Никитской улицы было недалеко. Однажды Гончаров встретил в церкви... самого Александра Сергеевича Пушкина! Ему в то время было 16–17 лет, и он уже начал читать стихи великого поэта. «Пушкина я видел впервые... в Москве в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством»⁷⁶. Знакомство с творчеством великого поэта, пожалуй, было главным в образовании Гончарова в этот период его жизни. В письме к А.Н. Пышину от 10 мая 1874 года романист вспоминал об этом времени: «Имя Пушкина... запрещали в школах» (VIII. 472). «В это время Гончаров, как известно, «читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно»⁷⁷. В основном это были авторы отошедшего века: В.А. Озеров, М.М. Херасков, И.И. Дмитриев, в лучшем случае – Г.Р. Державин и Н.М. Карамзин. «И вдруг Пушкин! Я узнал его с «Онегина», который выходил тогда периодически, отдельными главами. Боже мой! Какой свет, какая волшебная даль открылась вдруг, и какие правды – и поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной, – хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках! Какая школа изящества, вкуса, для впечатлительной натуры!» (VIII. 470).

Впрочем, посещение храма в воскресный день, к которому, очевидно, приучила писателя его мать, Авдотья Матвеевна, не исчерпывает религиозной жизни мальчика в это время. Но как именно шло духовное возрастание Гончарова в эти годы – остается загадкой, во всяком случае – пока.

Московский университет

Иван Гончаров долго страдал как от обстановки, сложившейся в училище, так и от нелюбимых предметов. Он давно уже был увлечен одним – литературой. Его мечтой была настоящая учеба – в университете, на «словесном» факультете. Через восемь лет обучения в Коммерческом училище он решает подать прошение об увольнении. Запись в журнале заседаний совета училища от 13 сентября 1830 года гласит: «Слушав присланное в сей Совет от симбирской купеческой вдовы Авдотьи Матвеевой Гончаровой прошение, в котором прописывает, что в августе 1822 года записан был в число полных пансионеров сего Училища сын ее Иван, который по трудной болезни брата своего Николая, обучавшегося также в сем Училище, должен безотлучно находиться при нем, а как окончание сей болезни предвидеть невозможно, да и по расстройству коммерческих дел ее, Гончаровой, она, не в состоянии будучи продолжать платы пансионных денег за сына своего Ивана Гончарова, просит Совет уволить его из училища и исключить из списка пансионеров, снабдить его об учении и поведении надлежащим свидетельством»⁷⁸.

В 1831 году Гончаров поступает в Московский университет. В то время университет был очагом свободомыслия, А. И. Герцен, учившийся здесь с 1829-го по 1833 год, писал в «Былом и думах», что «университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены – историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабря. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружно, закипела, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. <...> Университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев, в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее»⁷⁹.

Московский университет собирал вокруг себя разнородную, но самую талантливую русскую молодежь. Для своего времени это было училище свободомыслия в самом широком (а не политическом только) смысле слова. Герцен прежде всего отмечает вольный и западный по сути дух университетского обучения. Но этим не исчерпывалась университетская жизнь. Гончаров учился на филологическом факультете в блестящую его пору. Вместе с ним в одно время в университете учились Николай Огарев, Виссарион Белинский. «Между прочими тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете»⁸⁰. Запомнились Гончарову и Н.В. Станкевич, К.С. Аксаков, О.М. Бодянский, С.М. Строев (будущий известный историк). Однако ни с кем из них будущий романист не был знаком, его студенческая жизнь проходила в другом кругу знакомцев. Он уже в университете был чужд политических разговоров и увлечений: это стало его принципом на всю жизнь.

Из профессоров особенное влияние на него имели Николай Иванович Надеждин и Степан Петрович Шевырев. Его воспоминания «В университете» воспроизводят несколько иную, чем мемуары Герцена, университетскую атмосферу: «Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было. Мы, юноши,

полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены *со страхом и трепетом*⁸¹.

Я говорю о Московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток...

Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы» (VII. 194–195).

Студенческий период жизни Гончарова характеризуется ярко выраженным интересом к театру. Как раз в это время в Москве начинается расцвет театральной жизни. В 1823 году был открыт Малый драматический театр, сыгравший большую роль в его культурном становлении. Следом за этим, в 1825 году, открылся Большой театр. В Большом ставились в основном оперы и балеты, гораздо реже – драматические спектакли. Москва становится театральной столицей, а москвичи – заядлыми театрами. С 1823-го по 1831 г. московскими театрами руководил драматург и переводчик Ф.Ф. Кокошкин, а с 1831 года – известный писатель М.Н. Загоскин. Кокошкин был в дружбе со многими профессорами Московского университета, которые являлись преподавателями Гончарова: М.Л. Каченовским, А.Ф. Мерзляковым⁸². В 1831 году он пригласил в театральное училище в качестве преподавателя логики, российской словесности и мифологии Н.И. Надеждина⁸³. Возможно, именно это и сыграло свою роль в том, что Гончаров стал посещать дом актрисы Марии Дмитриевны Львовой-Синецкой. Но скорее он явился туда вместе со своим университетским товарищем, заядлым театралом Федором Алексеевичем Кони, будущим редактором «Театральной газеты», который уже в студенческие годы писал водевили для московского театра и лично для Львовой-Синецкой.

Став студентом университета, в котором столь силен вольный дух, Гончаров по-прежнему, как и в годы обучения в училище, продолжает посещать храм Никитского женского монастыря.⁸⁴

Это был старый московский монастырь, основанный в 1582 году боярином Никитой Романовичем Захарьиным-Юрьевым, братом первой жены Ивана Грозного – Анастасии. Монастырь был построен на месте старой церкви, носившей имя св. мученика Никиты. По имени монастыря получила позже свое название и улица, на которой он находился. Когда монастырь посещал Гончаров (1822–1835 гг.), он уже был восстановлен от разрушения, случившегося после пожара Москвы в 1812 году. Как раз в это время, в 1833 году, в монастыре был построен новый храм – во имя святителя Николая Чудотворца.

Об этом монастыре вспоминает Гончаров и в «Обрыве»: «В университете Райский делит время, по утрам, между лекциями и Кремлевским садом, в воскресенье ходит в Никитский монастырь к обедне» (Ч. 1, гл. XII). И не только в Никитский монастырь хаживал в это время будущий писатель. Златоглавая Москва не могла не привлечь его внимание своими старинными церквями, монастырскими стенами. В Симбирске он таких не видел... Если фигуру Райского принять как автобиографическую, то из «Обрыва» можно узнать и о том, что в студенческие годы Гончаров пережил благодаря старым монастырям и храмам Москвы увлечение русской историей, «уходил в окрестности, забирался в старые монастыри и вгля-

дывался в... почернелые лики святых и мучеников, и фантазия, лучше профессоров, уносила его в русскую старину» (Ч. 1, гл. XII). Как натура впечатлительная Гончаров глубоко погружался «в образ» древнего благочестия: «Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около: он очнется – перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме» (Ч. 1, гл. XII).

Университет освобождал от стереотипов провинциального мышления. Конечно, Гончаров ощущал, как и многие, дух университетской свободы, которой, по его собственным словам, не было, например, в «военных или духовных заведениях» (VII. 196). В своих воспоминаниях он пишет: «Я не говорю, чтобы свободе этой не полагалось преград: страх, чтобы она не окрасилась в другую, то есть политическую краску, заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, не научной, свободы проявлялись более вне университета; свободомыслие почерпалось из других, не университетских источников. В университетах молодежь, более чем в других заведениях, ограждена серьезною содержанием занятий от многих опасных увлечений, заносимых туда извне, больше издалека... Но тем не менее на лекции налагалось иногда veto, как, например, на лекции Давыдова.

Он прочел всего две или три лекции истории философии; на этих лекциях, между прочим, говорят (я еще не был тогда в университете), присутствовал приезжий из Петербурга флигель-адъютант, и вследствие его донесения будто бы лекции были закрыты» (VII. 196).

Лекции в Московском университете развивали ум, приобщали к европейской культуре. В эти годы Гончаров серьезно увлекается немецким эстетиком Иоганном Винкельманом, французской литературой. О, Бальзак, Ж, Жанен, Э. Сю – таков круг его чтения. «Неистового романтика» Эжена Сю он даже переводит, и перевод этот, опубликованный в журнале профессора Надеждина «Телескоп», становится точкой отсчета в его литературной деятельности. В своих воспоминаниях «В университете» Гончаров сам признает серьезное влияние Надеждина: «Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом, которым вводил нас в таинственную даль древнего мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и Рима. Чего только не касался он в своих импровизированных лекциях!.. Он один заменял десять профессоров» (VII. 211). Надеждин занимал должность ординарного профессора теории изящных искусств и археологии. В то же время это была личность широких интересов: журналист, литературный и театральный критик, эстетик, историк, этнограф. Любопытно и то, что Надеждин, родившись в семье потомственных священнослужителей, получил духовное образование: сначала в Рязанской духовной семинарии, а затем в Московской духовной академии – и стал священником. Он имел степень магистра богословских наук и в свое время преподавал в Рязанской духовной семинарии. Правда, в связи с болезнью подал прошение о сложении с него духовного звания. В 1830 году Надеждин защитил диссертацию на степень доктора этикофилологических наук. В университете он в 1831–1835 гг. преподавал логику, мифологию, эстетику, теорию и историю изящных искусств. Богословское образование и христианская вера вполне ощутимы в статьях Надеждина. Его статьи на самые отвлеченные темы часто проникнуты церковной лексикой и мыслью. Например, в статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» он пишет: «Но Творец не разделил с нами Своего всемогущества: Он не дал нам силы творить жизнь, а Сам создал нас живыми, взяв персть от земли и вдунув в нее небесное дыхание. И из взаимного действия сих двух противоположных начал возникла наша человеческая жизнь: жизнь умственная, нравственная – и (творческая) литературная». Или в другом месте: «В храме Софийском, под мусией греческой, водружен был крыж латинский; польский пан топтал конем своим стогны града

Ярославова; римский иезуит шептал мшу³ пред гробами Ольги и Владимира; православная русская народность гибла в своей колыбели... Правда, терпение русское, терпение железное, наконец, истощилось; грянул час освобождения, и православие, первое начало русской народности, восторжествовало!...»⁸⁵.

Между прочим, перу Надеждина принадлежат труды по русскому расколу: книга «Исследование о скопческой ереси» (1845), записка «О заграничных раскольниках» (1846). Эти труды явились результатом его службы в Министерстве внутренних дел (с 1842 года). Исследовав вопрос о раскольниках, Надеждин сделал вывод о необходимости ужесточения политики властей против раскольников как людей, опасных для государственного устройства России.

Духовный настрой Надеждина как литературного критика сказался в том, что он был сторонником нравственно-воспитательной ориентации искусства. Недаром он называл XVIII век «веком кощунства и нечестия». Зато он одобрял нравственно-христианскую поэзию А. Ламартина, А. Манцони и Новалиса (и отвергал «макабрскую пляску мертвых костей на кладбище жизни» Дж. Байрона, Р. Саути, В. Гюго и Ж. Санд).

При этом Надеждин, как бы предваряя поиски «золотой середины» Гончаровым, пытался соединить христианскую мысль с мечтой о цивилизованности своего отечества. В уже упомянутой статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» он сетовал на многовековое засилье церковнославянского языка в русской письменности: «При первом введении письма на Русь письменность сделалась церковнославянскою; и эта церковнославянская письменность, по своей близости и вразумительности каждому, тотчас получила авторитет народности. Это не был отдельный, священный язык, достояние одной известной касты – но книжный язык всего народа! Кто читал, тому нечего было читать, кроме книг церковнославянских; кто писал, тот не смел иначе писать, как приближаясь елико возможно к церковнославянскому! Что же сделалось с русской живой, народной речью? Ей оставлены были в удел только низкие житейские потребности; она сделалась языком простолюдинов! Единственное поприще, где она могла развиваться свободно, под сению творческого одушевления, была народная песня; но и здесь над ней тяготело отвержение, гремело проклятие. Народные песни в самом народе считаются поныне греховодной забавой, тешеньем беса! У наших предков законное, безгрешное употребление поэзии разрешалось только в составлении акафистов и канонов или в пении духовных стихов, где доньше звучит священное церковнославянское слово... Так, в продолжение многих веков, последовавших за введением христианства, язык русский, лишенный всех прав на литературную цивилизацию, оставался неподвижно, *in statu quo* – без образования, без грамматики, даже без собственной азбуки, а в одном и том же, неизменном состоянии, приноровленном к его свойствам и особенностям. И между тем предки наши, в ложном ослеплении, не сознавали своей бессловесности; они считали себя грамотными: у них были книги, были книжники; у них была литература! Но эта литература не принадлежала им: она была южнославянская по материи, греческая – по форме; ибо кто не знает, что богослужебный язык наш отлит весь в формы греко-византийские, может быть даже с ущербом славянизма?»

Личность и любимые идеи профессора Надеждина, разумеется, вольно или невольно выказывались на лекциях, Гончаров впитывал образ мыслей своего любимого профессора. Статьи Надеждина проникнуты пафосом примирения европеизма и народности. Очевидно, мысль пришла по вкусу Гончарову, что положило начало его серьезным размышлениям на эту тему. После отца Феодора Троицкого Гончаров снова попал «в учение» к человеку, который совмещал в себе светские и духовные познания. Думается, что и эта встреча сильно повлияла на выработку философии творчества Гончарова, поставившего в своих романах

³ Месса, молитва (польск. *nisza*).

вопрос, как, будучи современным цивилизованным человеком, тяготеющим к культуре и комфорту, оставаться в полной мере человеком евангельских идеалов, христианином.

Выделяет Гончаров и лекции Степана Петровича Шевырева, который «принес... свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших – индийской, еврейской, арабской, греческой – до новейших западных литератур» (VII. 211).

Характерен и его отзыв о будущем редакторе религиозно-патриотического журнала «Москвитянин» Михаиле Петровиче Погодине. Гончаров признает его огромное влияние на развитие и образование студентов, но ему кажется, что в своей религиозности и патриотизме Погодин был не совсем искренен: «У Михаила Петровича... было кое-что напускное и в характере его и в его взгляде на науку... Может быть, казалось мне иногда, он про себя и разделял какой-нибудь отрицательный взгляд Каченовского и его школы на то или другое историческое событие, но отстаивал последнее, если оно льстило патриотическому чувству, национальному самолюбию или касалось какой-нибудь народно-религиозной святыни...» (VII. 215). Эти слова писались уже на склоне лет. Похоже, что Гончаров вполне разделял мнения «скептической школы» Каченовского и его учеников.

На родине. Губернатор А. М. Загряжский

После окончания университета летом 1834 года Гончаров, не имея конкретных планов, отправился на некоторое время домой, в Симбирск: отдохнуть, осмотреться, подумать о будущем. Симбирск жил своей тихой, ни в чем почти не изменяющейся жизнью: «Родимый город не представлял никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свежих, молодых сил». Это была все та же, хорошо ему знакомая Обломовка. Летом в городе была скука, так как все общество собиралось лишь к осени. Но осенью Гончаров надеялся уже быть в Петербурге. Впрочем, все повернулось не совсем так, как он думал. Крестный Н.Н. Трегубов составил Гончарову протекцию – и его пригласили служить секретарем губернатора Александра Михайловича Загряжского (1796 после 1878). Симбирский губернатор входил в петербургскую масонскую ложу «Соединенных друзей»⁸⁶ – может быть, поэтому и не отказал своему брату Трегубову.

В своих воспоминаниях романист освещает провинциальное масонство как чуждое чего-либо серьезного: «Под тайными обществами, между прочим, разумелись масонские ложи.

Якубов (так в своих воспоминаниях называет Гончаров Трегубова. – В.М.), как почти все дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенция, принадлежал тоже к масонской ложе. В Петербурге все лучшие, известные высокопоставленные лица были членами масонских лож; между прочим, говорили, что и Император Александр Павлович тоже был член.

В нашем губернском городе была своя отдельная масонская ложа, во главе которой стоял Бравин⁸⁷. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедию, собирались в потаенную, обитую черным сукном комнату, одевались в какие-то особые костюмы с эмблемами масонства, длинными белыми перчатками, серебряными лопатками, орудием «каменщиков», и прочими атрибутами масонства.

Не все члены, однако, были посвящены в таинственную суть масонства. Общая, всем известная цель была – защита слабых, бедных, угнетенных, покровительство нуждающимся и т. п. дела благотворительности. Многие из членов занимали низшие должности в иерархии ордена, например, что-то вроде каких-то звонарей и т. п., и повышались в степенях, после разных испытаний, смотря по способностям и значению.

Все это я узнал после, частью от самого Якубова, а более от других, менее скромных и пугливых бывших членов. «Крестный» открыл мне весьма немного, случайно...» (VII. 245–246).

Между прочим, воспоминания Гончарова показывают, что ему была известна не только «театральная» сторона жизни симбирского масонства. В частности, он вполне адекватно оценивает в очерке «На родине» фигуру предводителя дворянства князя М.П. Баратаева (Бравина): «Переполюх по поводу масонства повел после 14-го декабря к обыскам у всех принадлежавших к этому братству. Забирали бумаги, отсылали в Петербург, а председателя ложи, Бравина, самого отвезли туда, забрав всю его переписку. Но важнейшая часть его бумаг, за несколько часов до обыска, говорят, была брошена в пруд в его саду. Об обыске предупредил его полицмейстер, его приятель, и тем спас Бравина, может быть, от тяжелых последствий. Бравин был в переписке с заграничными масонами и, вероятно, был не чужд не одних только всем открытым, благотворительным, но и политическим целям, какие входили в секретный круг деятельности, как видно, иностранных и русских масонских лож.

14 декабря открыло правительству глаза на эти последние цели и вызвало известное систематическое преследование масонства, а с ним – всяких «тайных обществ», кото-

рые подозревались, но которых, кроме заговора декабристов, кажется, тогда не существовало» (VII. 246).

В самом деле, фигура М.П. Баратаева была по-своему весьма замечательной. Его действия в Симбирске и вне его пределов были отнюдь не театральными и смешными. Стоит здесь напомнить известную историю с «Серафимовым служкой» Николаем Александровичем Мотовиловым, земляком и ровесником Гончарова.

Характеристику М.П. Баратаеву дал Император Николай I, когда отправлял в Симбирск очередного губернатора и предупреждал его о Баратаеве: «Вам известны обстоятельства, по которым я счел нужным переменить в Симбирске губернатора Загряжского. Я им был, впрочем, доволен, но он... У него вышли какие-то дразги с губернским предводителем <дворянства>, князем Баратаевым. Личность, о которой я и знать бы не хотел». В своих «Записках» Мотовилов вспоминал события того времени не без скорби: «Вышедши из Императорского Казанского университета действительным своекоштным студентом 8 июля 1826 года... я через друга матушки моей, Надежду Ивановну Саврасову, вскоре познакомился с симбирским губернским предводителем, князем Михаилом Петровичем Баратаевым, и вскоре сблизился в нем до того, что он открыл мне, что он грандметр ложи Симбирской и великий мастер Иллюминатской Петербургской ложи. Он пригласил меня вступить в число масонов, уверяя, что если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом.

Я отвечал, что батюшка, родитель мой, запретил мне вступать в масонство, затем, что это есть истинное антихристианство, да и сам я, будучи в университете и нашедши книгу о масонах, в этом совершенно удостоверился и даже видел необыкновенные видения, предсказавшие судьбу всей жизни моей и возвестившие мне идти против масонства, франкмасонства, иллюминатства, якобинства, карбонарства и всего, с ними тождественного и в противление Господу Богу имеющегося. Это так разозлило его, и тем более в простоте сердца ему открытое намерение мое вскоре по устройстве дел моих ехать в Санкт-Петербург для определения на службу в Собственную Его Императорского Величества канцелярию, что он поклялся мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь успеха, потому что сетями масонских связей опутана не только Россия, но и весь мир.

Вскоре после того вышел закон, чтобы молодые люди, хоть и окончившие курс учения и получившие дипломы на ученые степени в высших училищах, не имели бы права отправляться на службу в столицу, а должны были бы три года послужить в губернии будто бы для ознакомления с процедурой провинциальной службы. Срезанный на первых порах с ног, я, как говорится, сел как рак на мели»⁸⁸.

Разговор с Баратаевым мог происходить летом – осенью 1826 года. Весь этот год правительство царя Николая I тщательно отслеживало все связи декабристов-бунтовщиков в среде русского столичного и провинциального дворянства, в особенности и прежде всего – в среде масонской. Трудным был этот год для Баратаева, но все же ему удалось выкрутиться из неприятной истории.

Похоже, что Гончаров сгустил краски, изображая атмосферу всеобщего страха в масонской среде. Баратаев теперь уже никого и ничего не боялся. Разговор с Мотовиловым показал, что он тут же начал вербовать новых членов в масонские ложи. Полной безнаказанностью объясняется его неприкрытая злоба к Мотовилову, его страшные проклятия и обещания. Нужно сказать, что он сдержал свое слово. Молодому выпускнику университета не по силам оказалось тягаться со сплоченным в Симбирске тайным обществом, в которое входили, как правило, все видные провинциальные деятели и главные губернские чины. Уверенность князя Баратаева, что Мотовилову за свой отказ вступить в члены масонской ложи ни в чем не будет успеха, вскоре подтвердилась. Уже в 1829 году Баратаев призвал его к себе и объявил:

– Этой должности вам не видать как своих ушей. И не только вы этой должности не получите, но не попадете ни на какую другую государственную должность, ибо и Мусин-Пушкин⁸⁹, и министр князь Ливен⁹⁰ – подчиненные мне масоны. Мое приказание – им закон!

Вступление Мотовилова в должность по службе отдалилось благодаря проискам Баратаева и его союзников на долгих 14 лет. Совсем иначе, как видим, складывалась в Симбирске чиновничья карьера Гончарова.

В разговоре с Мотовиловым князь не хвастал: он действительно был весьма могущественен. Его стараниями в 1817 году в Москве была открыта ложа «Александра к тройственному спасению», а в том же году в Симбирске – ложа «Ключ к добродетели». Князь являлся членом привилегированной петербургской ложи «Соединенных друзей», в которую входил и симбирский губернатор А.М. Загряжский, наместным мастером российского отделения этой ложи, входил в Капитул «Феникс» (тайный и высший орган управления масонства в России), был почетным членом многих лож.

Пользуясь большим уважением, он привлек в ложу «Ключ к добродетели» многих представителей симбирского общества. Эта ложа состояла из 39-ти действительных и 21-го почетного члена. Среди «братьев» ложи значились генерал П.Н. Ивашев, крестный отец писателя Ивана Александровича Гончарова Н.Н. Трегубов, Н.А. Трегубов, сенатор и бывший симбирский губернатор Н.П. Дубенской, Г.В. Бестужев, П.П. Бабкин, М.Ф. Филатов, А.А. Столыпин, Н.И. Татаринов, И.С. Кротков, П.П. Тургенев, графы А.В. и Я.В. Толстые, А.П. и П.А. Соковнины, И.С. и С.В. Аржевитиновы, Ф.М. Башмаков, И.И. Завалишин, Н.И. и С.И. Тургеневы и др. В эту ложу, весьма влиятельную, поступали не только из уездов Симбирской губернии, но и из соседних губерний. Так ценили «жаждущие славы мира сего» близость к Баратаеву. Собрания ложи проходили в гроте, устроенном в саду его имения. Члены ложи собирались в гроте и после запрещения масонства специальным манифестом Александра I в 1822 году,

В том же году в Симбирскую губернию – сначала в Сенгилей, а затем в Симбирск – был выслан известный мистик и масон, вице-президент Академии художеств, издатель «Сионского вестника» А.Ф. Лабзин. Сам выбрав место ссылки, он пожелал удалиться в Симбирскую губернию, где проживало много его знакомых и единомышленников. Симбирские масоны с нетерпением ждали приезда известного русского мистика Александра Федоровича Лабзина, которого они почитали как «мученика за идею». Начальник удельной конторы А.А. Крылов помог Лабзину в найме дома госпожи Назарьевой. Умер А.Ф. Лабзин в Симбирске в январе 1825 года и был похоронен на кладбище мужского Покровского монастыря, где хоронили наиболее почетных граждан города.

Не один лишь Баратаев с узким кругом знакомых числился в масонах Симбирска. Это был город с давними масонскими традициями. Если по всей России ложи начали открываться в самом конце XVIII – начале XIX вв., то в Симбирске первая масонская ложа «Золотой Венец» появилась еще в 1784 году. Основатель ее – один из активнейших деятелей московского масонства, член «Дружеского ученого общества» Иван Петрович Тургенев. Открытие ложи не было случайным. К этому времени в городе уже были масоны, причем числом достаточным для создания ложи. Обычно называют имена А.Ф. Голубцова, Ф.Н. Ладыженского, И.В. Колубакина, С.В. Аржевитинова, А.П. Соковнина, И.В. Жадовского. Все они во вновь образованной ложе получили должности, которые не могли доверить новичкам, так как они предполагали знание ритуалов и обрядов. Великим мастером ложи являлся И.П. Тургенев, а управляющим мастером – симбирский вице-губернатор А.Ф. Голубцов.

В конце XVIII века в Симбирске был построен едва ли не единственный в России масонский «храм» во имя св. Иоанна Крестителя. Этот «храм» без алтаря был выстроен в имени

В.А. Киндякова. В.А. Киндяков являлся одним из немногочисленных губернских подписчиков изданий Н.И. Новикова. В храме проходили собрания симбирской масонской ложи «Златого Венца», в которой состоял в степени товарища молодой тогда еще Николай Михайлович Карамзин. Основателем ложи являлся член новиковского кружка Петр Петрович Тургенев. Станный и мрачный был этот «храм». Он представлял собой каменное сооружение высотой до 16 метров, круглое в плане, с куполом и четырьмя портиками (на них изображены были масонские символы – урна с вытекающей водой, череп и кости и т. п.). Оно было увенчано не крестом, а деревянной фигурой св. Иоанна Предтечи, которого сами масоны мыслили как покровителя ордена вольных каменщиков. Храм этот Гончаров, конечно, видел, прогуливаясь в Киндяковке. Руины его сохранялись до начала 20-х годов XX века.

Поступление Гончарова в секретари к Загряжскому, конечно, не ставит вопроса о вступлении будущего писателя в масоны, но, во всяком случае, обозначает некоторые, впрочем, естественные при таком крестном отце, как Трегубов, связи с этой средой. Не последнюю роль играл в ней губернатор Загряжский. В воспоминаниях своих Гончаров изображает Загряжского как человека талантливого и в то же время крайне легкомысленного. В частности, Гончаров подчеркивает в губернаторе его страсть к художественным преувеличениям в рассказах о встречах с известными людьми: «У него в натуре была артистическая жилка, и он, как художник, всегда иллюстрировал портреты разных героев, например, выдающихся деятелей в политике, при дворе или героев Отечественной, в которой, юношей, уже участвовал, ходил брать Париж, или просто известных в обществе людей. Но вот беда: иллюстрации эти – как лиц, так и событий – отличались иногда такой виртуозностью, что и лица и события казались подчас целиком сочиненными. Иногда я замечал, при повторении некоторых рассказов, перемены, вставки. Оттого полагаться на фактическую верность их надо было с большой оглядкой. Он плел их, как кружево. Все слушали его с наслаждением, и я, кроме того, и с недоверием. Я проникал в игру его воображения, чуял, где он говорит правду, где украшает, и любовался не содержанием, а художественной формой его рассказов. Он, кажется, это угадывал и сам гнался не столько за тем, чтобы поселить в слушателе доверие к подлинности события, а чтоб произвести известный эффект – и всегда производил» (VII. 263).

Тем более характерно, что даже при столь беззлобном и «артистичном» губернаторе масоны в Симбирске устроили смертельную травлю Мотовилова.

В деле ареста Мотовилова сыграл свою роль не только испуг губернатора, пытавшегося вовлечь Мотовилова в антиправительственные разговоры, но и то, что общая атмосфера в так называемом «обществе» была пропитана нетерпением истинного христианства в человеке. Среди мотивов ареста губернатор Загряжский в своем донесении министру юстиции называет прежде всего «странности поведения» столь молодого и уже столь религиозного человека, каким был Николай Александрович. В «Записках» читаем: «В донесении же своем, которое, впрочем, показал мне, он писал господину министру, что, арестовав симбирского помещика, действительного студента Мотовилова и отобрав от него все его бумаги, он был к тому возбужден следующим. Первое, что Мотовилов познакомился в Воронеже с людьми известными. Второе, что он, будучи недурно образован, хотя и не бегаёт света, но и не так привязан к нему, как бы молодому человеку его лет следовало. Третье, что о вере он говорит так сильно и увлекательно, что речь его и на образованных людей остается не без значительных впечатлений, и на массу народа, приходящего к нему толпами под предлогом расспросов о его исцелении воронежском, и еще сильнее действует»⁹¹. Это был, таким образом, арест за христианскую веру Мотовилова. Вполне вероятно, что Загряжский, как подчиненный по масонской ложе, лишь выполнил не столь давние угрозы Баратаева. Три месяца продолжалось заключение Мотовилова. Лишь по высочайшему повелению он был выпущен из-под ареста министром юстиции Д.В. Дашковым во время приезда его в Симбирск в 1833 году.

Из фактов религиозной жизни писателя в это время можно привести всего лишь один: посещение правящего архиерея, правда, по настоянию Трегубова, хорошо знавшего провинциальные нравы. Правящим архиереем в 1834 году был высокопреосвященный Анатолий (в миру Андрей Максимович). Архиепископ Анатолий (1766–1844) много потрудился при открытии и благоустройстве Симбирской епархии и ее духовно-учебных заведений. Именно при нем был освящен Свято-Троицкий кафедральный собор, упоминаемый, между прочим, Гончаровым⁹². Подробности визита к нему Гончарова неизвестны, но можно предположить, что это был вполне «дежурный визит».

Храм святого Пантелеймона

Губернатор Загряжский был уволен в 1835 году. Отправляясь в Петербург, он взял с собою и своего секретаря, Гончарова. Более того, помог ему поступить на службу в Министерство финансов. С 1835-го по 1852 г. Гончаров служит в этом ведомстве. В 1852 году он отправляется в кругосветное плавание на фрегате «Паллада» – и снова секретарем. На этот раз секретарем руководителя экспедиции – адмирала Е.В. Путятина. Лишь в 1854 году Гончаров через Сибирь возвратился в Петербург.

При скудости сведений о жизни писателя мы не можем точно сказать даже о том, какие храмы посещал Гончаров как прихожанин в течение своей жизни. Такие сведения есть лишь о храме св. великомученика Пантелеймона.

Скорее всего Гончаров начинает посещать его, когда поселяется в доме на улице Моховой, в 1862 году⁹³. Храм располагался недалеко от дома. После возвращения в Санкт-Петербург в 1854 году он поселяется на Невском проспекте в доме Кожевникова, близ Владимирской улицы⁹⁴. Впрочем, возможно, уже после возвращения из «кругосветки» он посещает указанный храм. Это предположение можно сделать на основании его общения со священником М.Ф. Архангельским.

В приходе св. Пантелеймона, который находился в центре Санкт-Петербурга, служили священники, имеющие ученые степени. В списке духовенства обозначено, что в этом приходе служили, помимо Гавриила Васильевича Крылова, священники Михаил Ферапонтович Архангельский и Павел Федорович Краснопольский, а также дьякон Николай Васильевич Тихомиров.

Все они, судя по упомянутому списку, были людьми учеными: либо кандидатами, либо магистрами. Воспоминания Н.И. Барсова дают некоторое представление о духовнике Гончарова – протоиерее Гаврииле Крылове. Это был человек, судя по всему, влиятельный в церковном мире. Достаточно сказать, что Барсов упоминает о близком знакомстве отца Гавриила с придворным протоиереем Иоанном Васильевичем Рождественским, который обучал Закону Божьему Великому князя Сергея Александровича Романова⁹⁵.

Протоиерей Иоанн отличался высокими духовными качествами, которые еще более укрепились в посланных ему Божиим Промыслом испытаниях: перед принятием священства он потерял жену и всех детей. Конечно, не случайно, что именно такой священник, которому столь понятен был духовный путь Иова, должен был воспитать будущего мученика – Великого князя Сергея Александровича, убитого в 1905 году террористом Каляевым. Отец Иоанн собственноручно составил для Сергея Александровича специальную книгу для изучения Закона Божия. Эту книгу Великий князь хранил до своей кончины. Знакомство с отцом Иоанном духовника Гончарова свидетельствует как о замечательных духовных дарованиях отца Гавриила, так и о его авторитете в церкви.

По свидетельству Барсова, отец Гавриил «был человек хворый, чахоточный...»⁹⁶, Иван Александрович любил и уважал своего духовного отца «как человека простого и доброго и прекрасного священника»⁹⁷,

Гончаров не только «уважал» своего духовного отца, но и очень многое доверял ему. Самые сложные духовно-нравственные проблемы жизни Гончарова, упоминаемые в его письмах, получали ту или иную оценку отца Гавриила. Впервые своего духовника Гончаров упоминает, кажется, в письме к Софье Александровне Никитенко (которая, кстати сказать, тоже хорошо знала отца Гавриила и, возможно, также была его духовным чадом) от 4 июля 1868 года. Речь в письме идет о некоей А.Н., женщине, к которой Гончаров, судя по всему, был равнодушен, но от которой буквально бежал, подозревая, что она лишь выполняет тай-

ное поручение его личных врагов. Из письма выясняется, что в подобные проблемы своей жизни он посвящал отца Гавриила: «Ведь Вам мое длинное письмо ни в чем не помешает... А пишу по привычке поверять Вам все вообще и, между прочим, об А.Н., о которой только и могу говорить с Вами да с отцом Гавриилом, Не забудьте прочесть ему это мое письмо: пусть он не поскучает выслушать.

Я спешу написать это все Вам затем, чтобы и он, и Вы, услышавши от кого-нибудь, что и А.Н. и я – в Швальбахе, не подумали, что я поехал сюда, зная о ней что-нибудь, и не обвинили бы меня, как ее покровители, с ее слов и жалоб – и по наружным признакам. Боже меня сохрани! Я бы тогда ни ногой сюда! И теперь ничего: не подходи она ко мне, не останавливай, словом не затрогивай – и я не только не заговорю с ней, даже лишнего взгляда не кину – и мне нисколько не мешает работать то, что она тут близко» (VIII. 390).

Письмо к С.А. Никитенко от 19 июля еще более подробно рассказывает об отношениях Гончарова с таинственной «Агр. Ник.» и о ее характере. И здесь снова упоминание отца Гавриила, причем очень характерное: «священник, знающий все обо мне»⁹⁸. В более позднем письме к С.А. Никитенко от 4 июня 1869 года писатель снова упоминает своего духовного отца. Судя по контексту письма, отец Гавриил действительно знал о писателе все и был в курсе тяжбы Гончарова с Тургеневым, который, по мнению Гончарова, использовал в своих романах мотивы и образы еще неопубликованного, но уже прочитанного вслух «Обрыва». Духовник Гончарова мог советовать и советовал ему только одно: смириться: «Наш общий знакомый отец Гавриил все твердил и в прошлом и в нынешнем году: «Простите всем, смиритесь, и вам простится»... «Простите, смиритесь!» – говорят мне – и отец Гавриил и собственное мое желание» (VIII. 411–412)⁹⁹. Гончаров являлся духовным чадом отца Гавриила до самой смерти последнего.

Дружественные отношения установились у писателя и с другим священником храма – М.Ф. Архангельским. Любопытно, что Архангельский подарил Гончарову свой труд, в котором касается и творчества самого Гончарова. Будучи преподавателем словесности в Санкт-Петербургской Духовной семинарии в 1851–1855 годах, протоиерей Архангельский составил «Руководство» для «напоминания воспитанникам пространных изустных толкований». Упоминание о романисте И.А. Гончарове мы находим в главе «О замечательнейших описаниях путешествий в нашей литературе», где Архангельский называет, помимо гончаровского «Фрегата «Паллада», «Письма об Испании» В.П. Боткина и малоизвестные «Письма из Венеции, Рима и Неаполя» В. Яковлева. Гончаровскую книгу священник представил под названием «Путешествие И.А. Гончарова в Японию на русском фрегате «Паллада» в 1852 и последующих годах».

Весьма любопытно мнение духовного лица об этом произведении: «Оно отличается естественностью, верностью, подробностью, полнотой и занимательностью описаний, юмористическим изложением и написано языком простым, но весьма правильным, показывает в авторе глубокое знание отечественного наречия... При чтении путешествий г<осподина> Гончарова забываешь своё место, своё занятие, и, кажется, сам, вместе с автором, странствуешь по местам, которые он описывает».

Неизвестно точно, когда состоялось их личное знакомство, но, возможно, уже в 1855 году, при посещении храма, и уж во всяком случае, не позднее 1857 года, когда вышла упомянутая книга. Дело в том, что цензором книги выступил как раз Гончаров, который и подписал цензурное разрешение на выход книги в свет 13 марта 1857 года¹⁰⁰.

Именно в храме великомученика Пантелеймона состоялась еще одна знаменательная для Гончарова встреча – с духовным писателем Николаем Ивановичем Барсовым (1839–1903). Барсов преподавал русскую словесность в Петербургской духовной семинарии и в женских гимназиях столицы. Он был сыном священника, родился в Лужском уезде Петер-

бургской губернии. Первоначальное образование получил в Александро-Невском духовном училище, в 1859 году поступил в Петербургскую духовную академию, по окончании которой занял место учителя словесности в Петербургской семинарии. В 1869 году советом Петербургской духовной академии был избран на кафедру пастырского богословия и гомилетики и кафедру эту в звании исправляющего должность ординарного профессора занимал до 1889 года.

Из написанного Барсовым следует отметить труды: «Братья Денисовы и их значение в истории раскола» (СПб., 1866), «Русский простонародный мистицизм» (СПб., 1869), «История первобытной христианской проповеди до IV века» (СПб., 1885) и др. Кроме того, Барсов напечатал множество статей церковно-исторического и публицистического содержания в различных журналах и газетах. Часть этих статей собрана им в книге «Исторические, критические и полемические опыты» (СПб., 1879). Экземпляр этой книги он в свое время подарил Гончарову.

Первая встреча писателя с Барсовым произошла в 1867-м или 1868 году (точная дата неизвестна) в день Ангела Гавриила Васильевича Крылова, протоиерея Пантелеимоновской церкви, духовного отца Гончарова. В этот день, по словам самого Барсова, у отца Гавриила собрались его родственники и знакомые. Среди гостей были придворный протоиерей И.В. Рождественский, протопресвитер М.И. Богословский с семейством, несколько протоиереев и священников, а также несколько лиц светских, в том числе некий И.Т. Осинин, который не значится в кругу знакомых писателя. Именно здесь Барсов был представлен Гончарову.

Между ними состоялась небольшая беседа, которая навсегда сохранилась в памяти Барсова. Автор «Обломова» поинтересовался:

«— Ну обо мне-то, я думаю, вам не приходится говорить на ваших уроках словесности!

— Почему же, — отвечал Барсов, — не только на уроках истории литературы приходится излагать содержание ваших сочинений и делать их общую характеристику, наравне с Тургеневым, Островским и другими современными лучшими писателями, но и на уроках теории словесности и при других практических работах учениц приходится штудировать эпизоды из ваших романов. «Сон Обломова» помещен даже в хрестоматии Галахова¹⁰¹. А один отрывок из «Обыкновенной истории» — рассуждение о материнской любви, которое ведет автор по поводу сцены, произошедшей при отправлении Адуевой своего сына на службу, — я имею обыкновение заставлять учениц заучивать наизусть или писать под диктовку, когда оказывается нужной проверка их познаний в орфографии»¹⁰².

Гончаров, по словам Барсова, был немного изумлен этим. Закончилась эта беседа приглашением Ивана Александровича «быть знакомыми». Потом состоялась еще одна встреча у отца Гавриила, после которой Барсов стал видаться с Гончаровым чаще: в доме у него был, впрочем, не больше 5–6 раз за все время.

Отношения их не были интенсивными, но продолжались около 20-ти лет. Во время первого посещения Гончарова на дому (не ранее 1879 года) Барсов подарил ему экземпляр своей книги «Исторические, критические и полемические опыты». На титульном листе сохранилась дарственная надпись: «Его Превосходительству И.А. Гончарову в знак глубочайшего уважения от автора. 18.IV.79». В библиотеку Гончарова она поступила уже в 1881 году, где хранится и по сей день.

Гораздо позже, уже в 1886 году, посетив Барсова, Гончаров подарил ему свой портрет с «весьма лестною», как пишет сам Барсов, для него надписью. Очень часто они виделись на прогулках.

Барсова, как преподавателя словесности, больше всего интересовал вопрос о методах и постановке образования. Он развивал идеи о способе согласования классицизма с христианством через правильную постановку среднего и высшего преподавания древних языков, с одной стороны, и обучения религии — с другой. «В самом деле, не есть ли это аномалия, —

говорил Барсов, – что, с одной стороны, через изучение древних авторов знакомят молодых людей с древним античным мировоззрением, с доктринами и принципами язычества и в то же время думают сделать молодых людей хорошими христианами через два недельных урока катехизиса, преподаваемых совместно с десятком уроков древних языков? Если конечная цель всякого образования – дать людям цельное и законченное мировоззрение, то как достигается эта цель при совместном изучении классиков и Евангелия?»¹⁰³. Конечно, Гончарову, который всю сознательную жизнь вырабатывал философию «цивилизованного христианства», это было чуждо. Своему собеседнику он отвечал приблизительно так: «Никакого мирозерцания ни в том, ни в другом случае, т. е. ни в гимназиях, ни в университетах, не изучают и не приобретают...»¹⁰⁴. Знание, по мнению Гончарова, появляется вне школы, из домашнего быта и из домашних традиций, из среды, в которой вращается юноша, наконец, из элементов самообразования. Отсюда и появляется невежественное отношение к религии, так как не во всех домах можно почерпнуть необходимое знание. Нужно было поднять образование на более высокий уровень.

В подаренной Гончарову книге у Барсова есть размышления, которые волновали и Гончарова: это мысли о неразвитости религиозного сознания русских писателей и о разъединении веры и науки в России. Автору книги «Исторические, критические и полемические опыты» кажется, что во всей Европе нет страны, где религия и наука, церковь и общество находились бы в таком разъединении и отчуждении одна от другой, где творческая интеллигенция была бы до такой степени неверующая, как у нас в России. Он отмечает, что нигде нет такого глубокого невежества в отношении к религии, как у нас между так называемыми «образованными» и «развитыми» людьми, а особенно – между писателями. Барсов делает вывод, что происходит это от того, что писатели никогда не занимались серьезным изучением религии. По его мнению, в незнании Закона Божия виновато слабое развитие богословской науки у нас в России. На Западе наука, образование более или менее зиждутся на религиозном основании, «самое неверие тамошнее есть естественный продукт тамошних религиозных начал». В России же христианство, вера не составляют мировоззрения; скорее это кодекс понятий, свойственных толпе, но недостойных человека развитого, и развитой человек не станет искать в нем ответа на высшие запросы духа. Ищут этих ответов в науке и, благоговея пред наукой, игнорируют религию.

И Гончаров, и Барсов были верующими людьми, оба говорили о разрыве культуры и религии, но расставляли различные акценты. Барсов считал, что преодоление разрыва возможно через глубокое воцерковление представителей культуры. Гончаров, судя по его личному опыту, не мог с этим не согласиться, но подчеркивал другое: необходимо научиться прикладывать христианское мировоззрение к практической цивилизованной жизни. Нельзя отвергать цивилизацию «с порога», нужно одухотворять ее христианскими истинами. Скорее всего подобные темы обсуждались Гончаровым и Барсовым в их разговорах, ибо эти разговоры касались зачастую и церковных тем. Например, Барсов свидетельствует, что Гончаров особенно хвалил митрополита Московского Иннокентия «за его пастырские и общечеловеческие добродетели»¹⁰⁵.

Непостыдная кончина

Предсмертные недели и дни Гончарова снова и снова подтверждают глубокую религиозность и воцерковленность писателя. Существует несколько свидетельств современников об этих последних днях жизни Гончарова. 27 августа 1891 года он заболел воспалением легких. В это время Гончаров находился на даче в Старом Петергофе. 6 сентября наступило некоторое улучшение, и писатель возвратился в Петербург.

Известно, что в последние дни перед своей кончиной Гончаров засыпал только с молитвой «Отче наш». Без нее уснуть не мог. С. Шпицер в своей книге пишет об этом, цитируя А.Ф. Кони: «Смерть его пугала... при жизни он страшно боялся даже одной мысли о ней... В последнее время он стал очень религиозным. Бывали минуты, когда, желая заснуть, ночью или днем, он то и дело просил своих близких говорить с ним «Отче наш». Больной слабо повторял слова молитвы и только тогда спокойно засыпал...»¹⁰⁶.

Самое значительное событие происходит 13 сентября, однако оно не нашло отражения в «Летописи жизни и творчества И.А. Гончарова»¹⁰⁷. Это событие – принятие Святых Христовых Таин. С. Шпицер пишет о 13 сентября: «Близкие думали, что уже пришел конец, когда Гончаров выразил пожелание причаститься. Пришел священник...»¹⁰⁸. А.Ф. Кони в письме к С.В. Максиму отмечал: «Старик отошел тихо и с верою. «Что такое смерть? – допрашивал он меня (я бывал у него каждый день). – Как ее объяснить? Мне вот казалось ночью, что ко мне подходили две большие собаки и больно меня кусали, – ужели это смерть?» Ему хотелось еще жить (а было 80 лет). «Авось и на этот раз, – говорил он, – меня Господь помилует». Но после причастия он вполне примирился со смертью. Последнее, что я от него услышал, было: «Я знаю, что умру, ну что ж, пожалуй, я ведь спокоен. Я видел сегодня во сне Христа – и Он меня простил...»¹⁰⁹. Скончался романист 15 сентября 1891 года.

Подробности его кончины дает газета «Русская жизнь»: «Покойный захворал 28 августа, слег в постель и уже более не вставал. Последнюю ночь покойный провел беспокойно, утром успокоился и заснул. Все находившиеся в квартире думали, что Иван Александрович спит, но он уже спал непробудным сном. Когда в 11 час^{ов} 10 мин^{ут} утра его стали будить, то не могли уже добудиться.

...В воскресенье утром прибыл по обыкновению к нему на квартиру, в которой покойный прожил более 40 лет, лечивший его доктор Данилович и никакой перемены к худшему в больном не заметил. Едва только доктор вышел из квартиры, как близкие к покойному люди заметили, что он перестал дышать. Он умер в полном сознании, без каких-либо страданий или предсмертных агоний»¹¹⁰.

Гончаров умирал с христианской надеждой на прощение и вечную жизнь. Достаточно вспомнить несколько строк воспоминаний А.Ф. Кони: «Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за два дня до смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет! Я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил»¹¹¹.

Любопытно, что Д.С. Мережковский, писавший, как известно, о спокойной религиозности романиста («Религия, как она представляется Гончарову, – религия, которая не мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и согревает сердце, как тихое воспоминание детства»)¹¹², неожиданно глубоко и резко почувствовал кончину писателя именно как христианское усупение. В течение своей жизни Мережковский не раз подтверждал высочайшую

оценку творчества Гончарова. Но совершенно особняком стоит одно его свидетельство, ставшее известным совсем недавно – в связи с опубликованием его записной книжки. Вот эта запись: «Я только что с панихиды Гончарова. Я стоял в маленькой скромной прихожке... Покойный лежал в третьей комнате. И вдруг – когда я взглянул на лицо его – все исчезло: и постылые лица знакомых литераторов, и суетное настроение, и маленькая комната. Я даже не помню, во что был одет усопший, я помню только это бледное, бесконечно тихое лицо. Я видел его при жизни. Это был полуслепой дряхлый старик. Лицо его казалось тогда безжизненным, равнодушным и ленивым, выражало только суетную и скучную поверхность жизни, а свое заветное он слишком глубоко таил от людей, этот одинокий, нелюдимый художник. И вот теперь заветное и глубокое его сердца, то, что создало Веру и голубиную чистоту Обломова, выступило, освобожденное смертью, на бледном, помолодевшем и успокоенном лице. И я почувствовал вдруг, как я всегда любил этого чужого и незнакомого человека, самую чистой и бескорыстной любовью, как только можно любить на земле, не как отца, не как брата, не как друга, даже не как учителя, а как человека, чья душа открывала моей душе великое и прекрасное, и за то он был мне ближе, чем брат, отец, друг, учитель. Мне не было его жалко, не было печально, я не чувствовал страха смерти; напротив, мне было радостно за него, что тишина и примирение, которые были его творческой силой, охватили теперь все существо его. И я думал: неужели это восьмидесятилетний старик? Детская чистота, невинность и успокоение делали это мертвое лицо таким молодым и прекрасным, что нельзя было оторвать от него глаза: так тихо спят только дети».

Сходное ощущение испытывал у гроба Гончарова и другой посетитель – беллетрист и драматург Иван Леонтьевич Леонтьев (псевдоним – Иван Щеглов) (1856–1911), который записал в своем дневнике: «На панихиде у И.А. Гончарова (Моховая 3, 4). Лежит тихий и приятный, точно не умер, а глубоко заснул и видит светлый, мирный сон. Народу вдвое меньше, но зато много молящихся», *чуть не впервые на литературных похоронах* (курсив наш. – В.М.). Выдающееся, благолепное служение Пантелеймоновского причта»¹¹³. Так была подведена черта под жизнью Гончарова как христианина.

Похороны Гончарова обнаружили, что русское общество восприняло жизнь писателя и его творчество как эпохально значимые. Многие ведущие русские газеты посчитали своим долгом опубликовать итоговые статьи о его жизни и творчестве. Так, газета «Неделя» (1891, № 38) писала: «По широте замысла и исполнения, по художественной ясности и пластичности изображений Гончаров едва ли имеет себе равного в нашей литературе – да, может быть, не столько в нашей, но и вообще в новейшей литературе европейской». Многие статьи отмечали близость Гончарова-художника к Пушкину и Гоголю.

В то же время жизнь Гончарова была осмыслена уже современниками как христианская. Характерно отразилось это мнение в петербургских и московских газетах, которые дали отзыв на гончаровские похороны.

Политическая, экономическая и литературная газета «Свет» (1891, 17 сентября. № 210) отметила некоторые объективные внешние детали гончаровских похорон, а именно: «16 сентября на квартире покойного были отслужены панихиды в 2 часа дня и в 8 час. вечера». И менее значимые детали: «В кабинете на особом возвышении покоится прах покойного, покрытый золотым покровом. Лицо укрыто кисеей. Все картины и зеркала завешаны. На панихиде присутствовали М.М. Стасюлевич, А.Г. Полотебнов¹¹⁴, проф. Спасович¹¹⁵ и много знакомых»¹¹⁶. Петербургская газета «Правда» дополняла: «16-го, 17-го и 18-го сентября на квартире происходили панихиды, на которых всегда присутствовала масса лиц, желавших почтить усопшего. Некоторые почитатели покойного И.А. приехали из Москвы, Дерпта, Твери и др. городов. Тело усопшего было набальзамировано и положено в дубовый гроб, 19 сентября состоялось погребение тела в Александро-Невской лавре. За гробом шла тысяч-

ная толпа. Гроб всю дорогу несли на руках, а печальная колесница была украшена венками, в числе которых было несколько дорогих серебряных. Отныне имя автора «Фрегата «Паллада», творца «Обрыва» и «Обломова» стало достоянием истории, со страниц которой оно никогда не сойдет».

Некоторым диссонансом звучат воспоминания художника И.Е. Репина: «Третьего дня были на похоронах Гончарова, довольно скромно прошли и было бы совсем тихо. Стройно запели студенты «Святой Боже...». Но яростно и энергично влетел к ним в середину верховой полицейский чин и потребовал прекращения. Замолчали, но когда он отъехал, пение раздалось снова. Тут полиция налетела с таким азартом!..

Пение не возобновилось, толпа очень поредела, и только на могиле к похоронам немножко собрались люди»¹¹⁷. На самом деле людей на похоронах И.А. Гончарова было много, недаром газета «Правда» отмечала, что за гробом шла тысячная толпа.

Наиболее объективную картину христианских похорон писателя дает его духовник протоиерей Василий Перетерский. В письме к М.Ф. Сперанскому 11 октября 1912 года отец Василий вспоминал: «Я служу в приходе Пантелеймоновской церкви с 1869 г., постоянно свыше 40 лет. В этом же приходе, Моховая ул., д. № 3... все в одной квартире свыше 30 лет жил и Иван Александрович Гончаров. Известие, что он был человек совершенно индифферентный к религии, не исполнял обрядов церкви, не причащался *et cetera*, думаю, кем-то выдуманно и совершенно не соответствует действительности. Я могу свидетельствовать, что он был человек верующий, хотя, может быть, по обычаю времени и по светским отношениям не всегда в жизни точно соблюдал обычаи и порядки церкви православной. В храм Божий в воскресные и праздничные дни ходил; ежегодно исполнял христианский долг исповеди и св. причащения в своем приходском храме, что особенно памятно нам потому, что он исповедался и причащался тогда, когда причастников в приходской церкви было уже очень немного, именно в Великую субботу за поздней литургией, которая начинается только в 1-м часу дня и по предположительности кончается уже в 3-м часу дня, почему причастников на ней бывает уже мало, но всегда обязательно И.А. Гончаров»¹¹⁸.

Отец Василий был одним из немногих, знавших истинную духовную жизнь писателя, он свидетельствует об истинном христианском смирении Гончарова: «Я его и напутствовал в последней предсмертной болезни; я тогда получил от него христиански смиренную просьбу, чтобы не хоронили его как литератора, на Волковском кладбище, а чтобы похоронили как простого христианина, скромно, просто, без всяких обычно устрояющихся учащеюся молодежью при погребении литераторов помпы и намеренной пышности и шума, в Невской Лавре»¹¹⁹. После смерти писателя отец Василий служил над его прахом панихиды, провожал гроб с телом покойного романиста в Лавру и обычным порядком после отпевания в Свято-Духовской церкви предал земле на Никольском лаврском кладбище, которое в 1891 году называлось Новым,

А. Бахтияров в журнале «Колосья» (1891, ноябрь. С. 328) отмечал: «Городская дума в ближайшем после смерти Гончарова заседании постановила: переименовать Моховую улицу – в Гончаровскую». Однако улица так и носит до сих пор старое название.

Христианство и культура

Салон Майковых. Первые литературные опыты

Весной 1835 года губернатор А.М. Загряжский был смещен со своей должности. Уезжая в Петербург, он взял с собою и своего секретаря – Гончарова. Видимо, не без его участия Гончаров получил должность переводчика в департаменте внешней торговли Министерства финансов. В департаменте Гончаров близко сошелся с Владимиром Андреевичем Солоницыным, сыгравшим заметную роль в его жизни и писательской судьбе.

В.А. Солоницын (1804–1844) в 1836–1841 гг. являлся помощником правителя канцелярии Департамента внешней торговли Министерства финансов. Он и сам, будучи учителем Аполлона и Валериана Майковых, не лишен был литературного дара. Не случайно в начале 1840-х годов он редактировал вместе с О.И. Сенковским журнал «Библиотека для чтения». Но главное – Солоницын привел Гончарова в семью Майковых, недавно переехавшую в Петербург из Москвы. Семья эта в религиозном отношении жила если не напряженной, то все-таки глубокой жизнью. Это не была жизнь духовная в собственном ее понимании, но скорее – культурно-религиозная, кстати, понятная и близкая Гончарову. Здесь стоит упомянуть, что род Майковых восходит к великому подвижнику Русской Православной Церкви святому Нилу Сорскому. Сам академик живописи Николай Аполлонович Майков расписал знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Известно, что в роду Майковых господствовали традиции Православия и монархизма.

«Майковский период» творчества Гончарова отмечен такими произведениями, как «Лихая болезнь» (1838), «Счастливая ошибка» (1839). Эти повести показывают высокую степень начитанности Гончарова в Священном Писании. В повестях не случайно встречаются библеизмы, а также реминисценции из Ветхого и Нового Заветов. Рисуя всеобщее пробуждение жизни весной, Гончаров использует в повести «Лихая болезнь» библейские реминисценции: «Все засуетилось... на небеси горе, и на земли низу, и в водах, и под землею» (ср. Исх. 20, 4). Смысл скрытой цитаты проясняется при полном воспроизведении текста библейского стиха. В книге «Исход» повествуется об исходе еврейского народа из Египта. Бог обращается к еврейскому народу: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой...» (Исх. 20, 3–5). Гончаров весьма тонко использует библейский текст. Ведь сначала создается впечатление, что цитата взята из книги «Бытия» и отсылает к словам Библии о сотворении мира: обычное весеннее пробуждение природы Гончаров, как первоначально кажется, намеренно подает как величайший акт сотворения мира, подчеркивая библейской отсылкой значимость этого события для семьи Зуровых, героев повести, и вызывая ироничную улыбку читателя. На самом деле замысел глубже: Зуровы иронично обвиняются в том, что из своих загородных прогулок они «сотворили себе кумира». Это тем более характерно, что перед приведенными словами в повести «Лихая болезнь» читаем: «В природе поднялся обычный шум; *те, которые умирали или спали, воскресли и проснулись...*» Таким образом, молодой прозаик уже обнаруживает не только прекрасное знание текста Священного Писания, но и умение многопланово включить библейскую реминисценцию в свое произведение. Характерно намечена в этой ранней повести и тема «сна» – в ее духовном ракурсе, что получит столь сильное продолжение в творчестве Гончарова, в частности, в романе «Обломов». В этой же повести заложена и другая традиция: во многих своих произведениях романист упоминает конкретные церкви и монастыри. В «Лихой болезни» он делает это впервые, упоминая «Нев-

ский монастырь» (А. I. 37), то есть Александро-Невскую Лавру, где Гончаров и будет похоронен в свое время. Упомянута также и Киево-Печерская Лавра, Подчеркивая то, что страсть Зуровых к загородным прогулкам носит характер «болести», Гончаров иронично сравнивает ее с языческой фетишизацией. Зуровы, по его мнению, «сотворили себе кумира» и даже превзошли в своей страсти религиозные устремления верующих: «Никогда ни один поклонник женолюбивого пророка не стремился с такою жадностью в Мекку, ни одна московская или костромская старуха не жаждала так сильно подышать святостью киевских пещер» (А. I. 37).

В повести содержится и первое упоминание религиозных подвижников в творчестве Гончарова: упомянут католический монах-аскет Петр Пустынник: «Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Петр Пустынник, только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал» (А. I. 58). Петру Пустыннику (ок. 1050–1115) приписывают организацию Первого крестового похода. В этом деле он отличался необыкновенным воодушевлением, которым увлек даже папу Римского¹²⁰. Об этом подвижнике Гончаров мог узнать из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», которую он хорошо знал. Петр Пустынник является одним из действующих лиц поэмы.

Подспудно поданный мотив «крестовых походов» не случаен. В повести нарочито последовательно и иронически подчеркивается едва ли не религиозная «высота» страсти Зуровых к загородным путешествиям: в болотах и оврагах под Петербургом они видят «клочок земного Рая», «где пернатые поют согласным хором хвалебный гимн Творцу»¹²¹. Так автор высмеивает «высокий романтизм» (идеализм) Зуровых.

Христианство и культура. Франты и джентльмены

Уже в начале 1840-х годов вырисовывается одна из стержневых проблем, определяющих своеобразие религиозной настроенности Гончарова. Это проблема внутренней соотносительности религии и культуры, религии и цивилизации. Будущий романист к этому времени, очевидно, уже осознал бесперспективность всякого нравственного идеала вне религии, вне христианства. Размышления на эту тему должны были волновать его еще в Московском университете, на лекциях Н.И. Надеждина, С.П. Шевырева, М.П. Погодина и других ведущих профессоров. Там же, на студенческой скамье, в общих чертах определилось тяготение писателя к западным, либеральным ценностям. Однако эти ценности не заслонили от него традиционное личное Православие, в догмах и идеалах которого Гончаров никогда не сомневался. Вопрос встал для него в другом плане: как соединить «вечность» и «историю», личное традиционное верование, «веру отцов», с обретенными в университете понятиями и ценностями культуры и цивилизации. Это исходная точка всех его религиозных размышлений. Проблема эта должна была вновь обостренно осмысливаться им в общении с Майковыми и их литературным окружением. Она оказалась актуальна для духовных поисков русской интеллигенции в течение всего XIX века и с новой силой религиозного интеллектуального ренессанса вспыхнула в начале XX века.

Именно на таком «эстетическом» восприятии христианства – в его приложении к потребностям исторического творчества – и построены такие произведения Гончарова, как «Письма столичного друга к провинциальному жениху», «Обыкновенная история», «Фрегат «Паллада». В 1840-е годы Гончаров начал своего рода эксперимент: попытку осмыслить культуру в свете христианства. Лишь искривление путей России в период революционно-демократического кризиса, а также личный опыт, полученный в период плавания на фрегате «Паллада», заставили его вскоре радикально переосмыслить свое мировоззрение. В 1860-е годы он уже понимал Православие прежде всего как хранилище нравственной и религиозной истины.

Прежде всего речь должна идти о таком его произведении, как «Письма столичного друга к провинциальному жениху». В нем публицистически ясно и очень концентрированно выражено то, что будет так или иначе воплощено во многих других произведениях Гончарова. Романист опубликовал «Письма...» в 11–12 номерах журнала «Современник» за 1848 год под псевдонимом А. Чельский¹²². Тот факт, что автор «Обыкновенной истории» не решился подписать свое собственное имя, а также то, что «Письма» были помещены в разделе «Моды», говорит, казалось бы, о второстепенном характере этого произведения. На самом деле Гончаров не просто выполняет некую черновую литературную работу (это период анонимного, но активного сотрудничества Гончарова с журналом, многие его произведения, опубликованные в «Современнике», до сих пор не установлены). Он по-прежнему, хотя и не в романной форме, занят главным: выработкой религиозно-нравственного идеала современного человека, и притом – европеизированного русского.

«Письма столичного друга к провинциальному жениху» являются в каком-то смысле программным произведением Гончарова, раскрывающим важнейшие стороны его мировоззрения. При этом следует отметить, что в дальнейшем писатель не включал его в свои собрания сочинений. Причину этого следует искать, видимо, в некоей незавершенности мысли, в «фельетонном» по духу характере «Писем». Однако идея, которую попытался в них выразить романист, была стержневой для его мировоззрения, в особенности для его мировоззрения 1840-х годов. В «Письмах» хотя и в фельетонной плоскости, но прямо ставился вопрос об идеале человека и назначении человеческой жизни. При этом Гончаров, как всегда, внешним образом не выходит на уровень религиозных понятий. Гончаров показывает

лишь «культурные», «цивилизационные» следствия из правильно или неправильно понятых идеалов человеческой жизни. Однако самое любопытное заключается в том, что, не покидая чисто земной, общественно-социальной почвы, художник выстраивает нечто вроде духовной «лестницы». Этот метод, лишенный всякого патетического религиозного начала (что так свойственно, например, Ф.М. Достоевскому или Л.Н. Толстому), станет для него основным на протяжении всего его творчества. Анализ гончаровских романов доказывает, что хотя писатель и не говорит непосредственно о религии, нравственные проблемы человеческой жизни рассматриваются им в контексте именно религиозного концепта жизни. Но лишь в последнем романе он вынужден был нарушить свои художнические установки и «приоткрыть» завесу над своей художнической тайной. В «Обрыве» Гончаров уже прямо, как никогда ранее не делал, говорит о религии, о вере, о Боге.

На первый взгляд, в «Письмах» ставится вполне практическая задача – показать несколько категорий современных людей, претендующих на звание вполне «светских», «порядочных». Гончаров выстраивает своеобразную классификацию общественно-психологических типов: «франт» – «лев» – «человек хорошего тона» – «порядочный человек». Особенность этой классификации такова, что каждый последующий тип, помимо общего, внешнего соответствия «моде», идеалу «светскости», цивилизованности, все в большей мере усваивает идеал внутренней порядочности, т. е. нравственности. От красоты, понимаемой чисто внешним образом, человек должен, по Гончарову, подняться до внутренней, почти религиозно понимаемой «красоты».

В этом любопытном по жанру произведении, напоминающем одновременно и о типичном «физиологическом очерке», и о философском эссе в духе английского просветителя А. Шефтсбери, Гончаров пытается открыто решать те проблемы, которые остались в подтексте его первого романа «Обыкновенная история». Писатель признает, что между идеалом и реальностью лежит «бездна», но все же свою задачу как художника видит в исследовании «идеальных» потенциалов самой реальности. Он видит, что разные люди в различной степени сумели приблизиться к идеалу, – и пытается обозначить многоступенчатость (а значит, и принципиальную возможность) «вырастания» идеала из самой реальности, из ее потребностей. По его мнению, самой мощной и наиболее естественной, органично присущей человеку потребностью, которая обуславливает стремление человека к идеалу, выступает «красота», стремление к «красивому».

Потребность в красоте глубоко присуща человеку как существу общественному, социальному. В письме к С.А. Никитенко от 21 августа 1866 года он замечает: «Эта потребность высокая, свойственная только человеческой природе и которой у животных нет» (VIII. 364), Красота – это «мост», соединяющий в человеке внешнее и внутреннее, «биологическое» и духовное. Таким образом, по Гончарову, и самая действительность, «неидеальная» и несовершенная, содержит в себе возможность «идеальную»: стремление к красоте, изначально присущее человеку. В «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» и исследуется эта «идеальная» потенция реальности.

Нравственный идеал в «Письмах...» – это «порядочный человек». Причем автор сразу замечает: «Нет и не было вполне порядочного человека, и Бог знает, будет ли когда-нибудь; но есть типы, есть более или менее приближающиеся к этому идеалу существа...» Понятие «порядочного человека» осмыслено писателем философски. На пути к указанному идеалу – несколько ступеней. Первая из них – «франт», в котором понятие порядочности отражается лишь одной своей стороной: умением «мастерски безукоризненно одеться». В нем стремление к красоте выражено исключительно «внешне», поверхностно. Он «трепещет гордостью и млеет от неги, когда случайно поймает брошенный на него каким-нибудь юношей завистливый взгляд или подхватит на лету фразу: «Такой-то всегда отлично одет». В своем стремлении к красоте франт крайне «овнешнен», ибо его волнует лишь реакция окружающих:

«Это обыкновенно мелкое и жалкое существо»¹²³. В то же время в нем хотя и уродливо, но выразилось первоначальное глубинное человеческое стремление к идеалу.

Следующая ступень – «лев», который является, в сущности, все тем же «франтом», но с универсально развитыми интересами: «Лев покорила себе уже все чисто внешние стороны умения жить. В нем незаметно мелкой претензии, то есть щепетильной заботливости о туалете или о другом исключительном предмете, не видать желания блеснуть одной какой-нибудь стороной.»¹²⁴. «Лев» уже более глубоко, чем «франт», постиг внешнюю красоту: «Он хорошо ест. «ему надо подумать, где и как обедать, решить, какой сорт сигар курить и заставить курить других; его занимает забота о цвете экипажа и о ливрее людей. Он в виду толпы: на него смотрят, как на классическую статую.» Но и «лев» – еще далеко не «порядочный человек».

Далее следует «человек хорошего тона», который уже вплотную приближается к идеалу истинного джентльмена¹²⁵. Для человека хорошего тона «наружные условия умения жить», дело второстепенное. Он извлек другую, важную тайну из этого умения: он обладает тактом в деле общественных приличий. «внутренних, нравственных». Итак, человек хорошего тона внешне уже джентльмен: он соблюдает все правила приличий так же, как и порядочный человек. Однако при ровном, благородном наружном тоне он не убежден внутренне в необходимости такого своего поведения в обществе. Он ориентируется на оценки окружающих, а не на самую высокую, собственно уже религиозную – самооценку. Иначе говоря, его джентльменство может быть лишь маской, но не истинным его лицом. «Человек хорошего тона может и не уплатить по векселю, завести несправедливый процесс», хотя даже и в обмане он «соблюдает ровный, благородный наружный тон», – пишет Гончаров. Поэтому-то автор и замечает: «За нравственность его я не ручаюсь». В человеке хорошего тона уже есть элемент «внутреннего». Он как бы переходная ступень от внешнего к внутреннему ему пониманию красоты.

«Порядочный человек» – совсем иное дело. В гончаровской классификации это, по сути дела, религиозный тип общественного поведения. Человек ориентирован не столько на «моду» или «оценку окружения», сколько на высший нравственный эталон поведения «для себя», «для самого добра». Он «честен, справедлив, благороден» – и притом все «хорошие его качества выражаются в нем тонко, изящно». Автор «Писем...» отмечает в порядочном человеке «тесное гармоническое сочетание наружного и внутреннего, нравственного умения жить» – причем «первую роль... играет, разумеется, нравственная, внутренняя сторона этого умения. Наружность есть только помощница, или, лучше, форма первой»¹²⁶. «Порядочный человек» в том виде, как его описывает Гончаров, есть уже человек, просвещенный духовным светом и, как показывает контекст всего творчества Гончарова, именем Христовым, Только этого имени писатель не называет.

Для того чтобы вполне прояснить нашу мысль, приведем высказывание известного православного подвижника епископа Арсения Жадановского. Православные мыслители подходят к той же проблеме, что и Гончаров (синтез внешней и внутренней красоты), только с другой стороны. В своем дневнике епископ Арсений записывает: «Читая наставления преподобного Исаии Отшельника¹²⁷, поражаешься, как у святых отцов-подвижников даже внешнее благоповедение доходило до высшей степени вежливости, благопристойности и обходительности. Если хотите, здесь вы можете найти высший тон благовоспитанности. Как сидеть за столом, как говорить, как ходить, как принимать гостей – всему вы здесь найдете указание, все здесь определено и при этом в высшей степени нежно, тонко, духовно и искренно, что весьма дорого. Высший же тон, рекомендуемый в светском воспитании, только вовне благопристойен, внутри же исполнен лицемерия, злорадства и пустоты. О, вера Христова! Как ты высока – ты поистине двигатель нашего совершенства и внутреннего и

внешнего! И ты, вера, это совершенство можешь везде давать человеку – будет ли он жить в богатых чертогах, или же в пустынях и пропастях земных.»¹²⁸

Идеал «человечности» Гончаров исследует как художник не в религиозных, а в сугубо «общественных» формах. Между человеком и «внутренней красотой» у него стоит как переходная ступень красота «внешняя», ощущаемая «пятью чувствами». Но внутренняя красота, и только она, является целью его художественного исследования в «Письмах». Как светский мыслитель он описывает к ней путь, который возможен для культурного и цивилизованного мирянина. Как видим, выделяя несколько ступеней своей духовно-эстетической «лестницы», Гончаров поднимает ту же проблему, что и, например, епископ Арсений, но показывает светское воспитание не в одном лишь негативном свете (в противопоставлении духовному), а обнаруживает, что и в миру люди стремятся к тому же христианскому идеалу совмещения внутренней и внешней красоты. Можно сказать, что Гончаров поднимает церковную проблему, утверждает все тот же христианский идеал, но подходит к этой проблеме, к этому идеалу, с другого конца. Церкви не важны переходные ступени той «лестницы», которую описывает автор «Писем». Гончарову же важны именно переходные моменты, указывающие на принципиальную возможность внутреннего очищения, движения к идеалу Христа – в формах светской жизни. Таким образом, Гончаров начинает свою нравственно-очистительную работу там, где кончают святые отцы Церкви.

В идеале порядочного человека обозначен самый нерв гончаровского мировоззрения в 1840-е годы. В своем поиске синтеза христианских идеалов и «цивилизации» Гончаров в это время еще пытается сохранить «инкогнито», прикрывая свой поиск флером просветительских идей. Ему дороги эстетизированные гуманистические идеалы, восходящие к просветительской «гуманности» и к распространяемому в России идеалу «дендизма». Гончаровский «порядочный человек» находит явную переключку с пушкинским «денди». В то же время в его концепции «порядочного человека» явно проглядывают оттенки как собственного протестантизма, так и просветительства, и даже англomanии. Уже гораздо позже Гончаров говорил: «Яне англоман, но не могу, иногда даже нехотя, не отдать им справедливости»¹²⁹. Его «порядочный человек» калькирован с английского идеала «джентльменства», который упорно отстаивал романист на протяжении многих лет. Лишь спустя много лет писатель начнет ощущать кризис просветительства и осознавать тщету примирения его с христианскими идеалами.

Даже в романе «Обыкновенная история» Гончаров очень занят любимой мыслью о нравственно-эстетической классификации людей. Оставаясь хорошим психологом, автор романа показывает, что, как правило, люди весьма завышают свою самооценку. Франт хочет выглядеть «львом», человек хорошего тона – порядочным человеком и т. д. Так, например, и себя, и своего приятеля графа Новинского Петр Адуев считает «порядочными людьми», несмотря на явно непорядочные поступки графа, лишь прикрытые приличием, и свою жестко прагматическую философию жизни, приведшую к трагическому финалу в его отношениях с женой:

«— Укажите, где порядочные люди? – говорил Александр с презрением.

– Вот хоть мы с тобой – чем не порядочные? Граф, если уж о нем зашла речь, тоже порядочный человек; да мало ли? У всех есть что-нибудь дурное... а не все дурно и не все дурны» (Ч. 1, гл. VI).

Кто же на самом деле Петр Иванович Адуев – по гончаровской классификации? В III главе второй части Гончаров пишет о своем герое: «Ни в одном взгляде, ни в движении, ни в слове нельзя было угадать мысли или характера Петра Иваныча – так все прикрито было в нем светскостью и искусством владеть собой». Это явно не порядочный человек, но человек хорошего тона. Петр Иванович знает наизусть не одного Пушкина, хорошо разбирается в живописи и вместе с тем обладает энергией, деловыми навыками. Автор характеризует его

как «человека с умом и тактом». Более того, он «тонок, проницателен, ловок» (Ч. 2, гл. I). Тем не менее перед нами далеко не высший идеал. Петр Иванович лишь декларирует свою веру в высокие идеалы, которым так смешно предан его племянник-романтик. Под предлогом борьбы с мечтательным романтизмом он фактически игнорирует все эти нравственные ценности. Тонкий вкус, знание Пушкина не преображают его внутренне, не предотвращают его семейной катастрофы, то есть остаются чем-то поверхностным, внешним. У него нет друзей, но зато много «нужных людей». Его теория семейной жизни, основанная на разделении любви и брака, цинична. Он может прочесть чужое письмо и выбросить в окно чужую вещь, хотя во всем он соблюдает «изящный, ровный, благородный наружный тон», как и положено человеку «хорошего тона».

Точно так же Сурков вовсе не является «львом», хотя и считает себя таковым: «Туалет его был свеж, но в каждой складке платья, в каждой безделице резко проглядывала претензия быть львом, превзойти всех модников и самую моду. Если, например, мода требовала распашных фраков, так его фрак распаивался до того, что походил на распростертые птичьи крылья; если носили откидные воротники, так он заказывал себе такой воротник, что в своем фраке он похож был на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук. Он сам давал наставления своему портному, как шить. Когда он явился к Тафаевой, шарф его на этот раз был приколот к рубашке булавкой такой неумеренной величины, что она походила на дубинку» (Ч. 2, гл. III).

Джентльменство для Гончарова – органичный синтез внешнего и внутреннего, эстетики и этики, изящества и нравственности. В неразложимости того и другого – все дело. Уже за несколько месяцев до смерти он написал небольшой очерк, ярко иллюстрирующий, как тесно связаны внешняя и внутренняя гармония в человеке. Героя очерка «Май месяц в Петербурге» отличает безвкусица, эстетическая неопрятность, разладица. Для Гончарова это признаки грубой, корыстной души: «В домашнем быту своем он был во всем приличен, но, вглядываясь в приличие это, заметишь белые швы. У него в квартире было все сборное, никакого единства, то есть вкуса, в обстановке... все... смотрело врознь. Джентльменом он не был, едва ли даже понимал это слово или смешивал его с крупным чином. В настоящую пору он ладил, как бы ему жениться на богатой, хоть на купеческой дочери...»

Интересный спор о джентльменстве возник на страницах романа «Обломов». На вопрос Штольца о том, кто такой Илья Ильич, Захар ответил: «Барин».

«– Барин! – повторил Штольц и закатился хохотом.

– Ну, джентльмен, – с досадой поправил Обломов.

– Нет, нет, ты барин! – продолжал с хохотом Штольц.

– Какая же разница? – сказал Обломов. – Джентльмен такой же барин.

– Джентльмен есть такой барин, – определил Штольц, – который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги» (Ч. 2, гл. IV).

Строго говоря, Штольц не совсем прав. Ведь даже один из любимых английских авторов Гончарова философ Д.С. Милль в «Системе логики» писал, что джентльмен – это «всякий, кто живет не трудясь». В Обломове и Штольце просто-напросто столкнулись две культуры – дворянская и буржуазная – и, соответственно, два понимания джентльменства. Начиная со времен Даниэля Дефо, автора знаменитого романа «Робинзон Крузо», весьма интересовавшегося проблемой джентльменства, появилось различие джентльменов по происхождению и джентльменов по воспитанию. В «Обломове» Гончаров безусловно признает лишь вторых. Истинный джентльмен в романе, во всяком случае, в замысле автора, – Штольц, что и было замечено критиком РЛ Ахшарумовым, который выделил «щегольской фрак из тонкого сукна и тонкие голландские рубашки как символ джентльменства» у Штольца.

Первого «живого» джентльмена Гончаров видел в Симбирске. Это был его крестный Н.Н. Трегубов, о котором сказано в воспоминаниях «На родине»: «Это был чистый самородок честности, чести, благородства и той чистоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем. Все это хорошо выражается английским словом «джентльмен», которого тогда еще не было в русском словаре»¹³⁰.

Гончаров настолько высоко ценит понятие «джентльменства», что возводит его в общечеловеческий идеал. Так, в статье «Опять «Гамлет» на русской сцене» (1875) он прямо ставит знак равенства между понятиями «джентльмен» и «человек» в высшем гуманистическом значении этого слова: «Он не лев, не герой, не грозен, он строго честен, благороден, добр – словом, джентльмен, как был его отец... Это совершенный джентльмен – или «человек»...» Идеей джентльменства отмечены многие образы, созданные

Гончаровым, начиная с Петра Ивановича Адуева из «Обыкновенной истории» до Тушина и Райского в «Обрыве», Джентльменство раскрывается в его творчестве как определенный этический идеал, а самое слово отсвечивает в его произведениях почти философской глубиной, ныне утраченной как в обыденной речи, так и в толкованиях словарей.

Понятие, разумеется, далеко не сразу получило место в русских толковых словарях. Кажется, впервые слово «джентльмен» нашло отражение в русском «Энциклопедическом лексиконе» (СПб., 1839), Его использовали и западники (В.П. Боткин, И.С. Тургенев), и славянофилы (Н.Д. Ахшарумов, С.Т. Аксаков). Понятие проникало в жизнь разнообразно. Из словарей и собственно идейно-понятийной сферы оно перешло в реальную жизнь, причем первые попытки его жизненной, бытовой реализации казались достаточно широкими по духу (впоследствии сфера его бытования в русской жизни не то чтобы сузится, но скорее не подтвердятся притязания на легкое и органичное проникновение этого понятия в самые различные сферы русской практической жизни). Характерно, что уже в июне 1843 года на ипподроме Московского скакового общества состоялась первая «джентльменская скачка». Ее победителем стал литератор А.В. Сухово-Кобылин.

Были предприняты попытки этико-философского осмысления понятия, его серьезного «вживания» в русскую жизнь в качестве морального идеала. Здесь прежде всего надо сказать о В. Боткине и Гончарове, которые более других русских писателей подводили под это понятие теоретический базис и при этом ориентировались на историю английской этики.

Первое упоминание о джентльмене дает известное английское двустишие:

Когда Адам пахал, а Ева пряла,
Кто был тогда джентльменом?

Двустишие относится к XII веку. Один из характерных признаков здесь – джентльмен не занимается ручным трудом, Этот признак оказался очень устойчивым в Англии – он сохранился вплоть до начала XX века. В «Британской энциклопедии» есть сведения, что в 1400 году слово «джентльмен» означало «благороднорожденный», а с 1414 года – младших сыновей, лишенных наследства в силу обычая единонаследия, В 1583 году Томас Смит в трактате «Об английском государстве» делил англичан на 4 разряда: 1) джентльмены; 2) граждане и горожане; 3) мелкие землевладельцы; 4) ремесленники и крестьяне¹³¹. Здесь джентльмены – это все высшее дворянство от герцогов до баронов.

Освобождение от физического труда – не просто социальная привилегия джентльмена. Его время уходит на совершенствование, культивирование всех лучших свойств человеческой природы вообще. Без этого он – не джентльмен. Именно в этом – его общественное служение, Он показывает образец человеческого поведения, морали, повышает уровень нравственной жизни общества. В 1713 году в газете «Гардиан» была помещена статья Р. Стила. «Под совершенным джентльменом, – писал Р. Стил, – мы понимаем человека, который спо-

собен одинаково хорошо служить обществу и охранять его интересы, а также быть его украшением... ему присуще такое достоинство и такое величие, какими только может обладать человек». Иначе говоря, джентльмен – это собрание всех мыслимых добродетелей, образец человека как такового. Джентльменство включает в себя целый набор совершенств.

В Великобритании несколько столетий шел спор о том, кого же можно считать джентльменом. К идеалу джентльмена нация относилась со всей возможной серьезностью. О джентльменстве как целом институте английской жизни исписаны горы литературы: среди них – книги, статьи, в том числе в знаменитой «Британской энциклопедии»¹³².

Между тем русская культура XIX века не только в полном объеме воспринимала значение слова «джентльмен», но и пыталась развить это понятие – в первую очередь в творчестве Гончарова. В России как-то сразу стало устанавливаться понимание, что джентльмены возможны в любом классе общества. В очерке Гончарова «Литературный вечер» один из героев решительно утверждает: «Порядочные люди, или джентльмены, есть во всяком классе; наверху их меньше. Там только бары». Ему возражает старик-либерал Чешнев: «Не высший, не низший, а просто круг благовоспитанных людей, то, что называется джентльменов у англичан или порядочных людей у нас!» Гончаров в 1840-е годы, как и его доверенное лицо в «Литературном вечере» (Чешнев), не связывает джентльменство с узким социальным кругом. «Беда франту и льву без денег: тогда они ничто... Но человек хорошего тона, но порядочный человек и в прахе бедности и неизвестности сохраняют негнущие нравственные признаки хорошего общества: они и туда унесут с собою – один изящество манер и тонкое чувство приличий, другой – прелесть внешнего и блеск нравственного умения жить. Они как драгоценные алмазы могут затеряться в пыли, не утратив своей ценности».

Красота, по Гончарову, сама по себе настолько высока и самодостаточна, что в нее укладываются в светской жизни даже и религиозные основы миропонимания. В миру она является столь же твердым основанием жизни, как аскеза – в монастыре. В основе нравственных принципов порядочного человека лежит не что иное, как Евангелие. Этого достаточно для Гончарова, ибо он выстраивает в своих произведениях именно евангельскую этику, которую в «Письмах» светски называет «нравственным умением жить».

Красота как нравственная категория интересовала Гончарова еще до написания «Писем». Красоту как нравственное и эстетическое явление Гончаров изучал уже в университете: не только на лекциях профессоров, но прежде всего сам, вчитываясь в произведения Ф. Шиллера, И. Винкельмана и др. В одной из автобиографий романист признается, что все свободное от службы время «много переводил из Шиллера, Гете... также из Винкельмана...» (VIII. 223). Имя Винкельмана сопровождает его всю жизнь. В одном из писем к А.Ф. Кони он вспоминал: «Я для себя, – без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман»¹³³. В определенном плане имя Винкельмана стоит для него в одном ряду с именами Г.В.Ф. Гегеля, И.В. Гете, В.Г. Белинского. Следует обратить внимание на то, что «Винкельман был в числе главных источников, по которым Надеждин читал лекции о греческих памятниках изящных искусств»¹³⁴; здесь и надо, видимо, искать начало огромного интереса художника к воззрениям Винкельмана. Более всего учился Гончаров у этого немецкого эстетика вкусу, изяществу, пониманию красоты.

«Письма» были написаны в 1848 году, однако очерк «Иван Савич Поджабрин» (1842) показывает, что гончаровская философия человека складывается гораздо ранее. Именно в «Иване Савиче Поджабрине» впервые встречается у Гончарова классически очерченный тип «франта» и, в сущности, ставится проблема уродливого искажения естественного стремления человека к идеалу красоты.

«Обыкновенная история»

В 1844 году Гончаров начал работу над своим первым романом «Обыкновенная история». К середине 1840-х годов писатель уже ощутил тесноту жанровых рамок очерка, повести, новеллы. Роман позволял перейти к более широкому охвату жизненных проблем, а вместе с тем и к более масштабному поиску религиозно-нравственного идеала.

Весьма долгое время «Обыкновенная история» трактовалась как произведение, связанное с предреформенной русской жизнью и проблемой провинциального романтизма. Традицию заложил еще В.Г. Белинский, воскликнувший: «Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!»¹³⁵. Белинский обозначил проблемы, лежащие на поверхности романа. Но от его глаз был сокрыт более масштабный замысел автора – замысел романной трилогии. Этот замысел уже существовал у Гончарова в 1840-е годы, но он сам еще не сознавал всей глубины идейно-философского единства своей будущей трилогии.

Самое слово «удар» в устах Белинского означало, что он попытался трактовать произведение Гончарова как некий публицистический отклик на современность. Как полемический выпад. Но Гончаров по природе своего писательского дара не столько полемист, сколько мыслитель, фундаментально, в пластических образах утверждающий единственно для него возможный идеал. Но каков же этот идеал? Неужели он был сводим лишь к трезвому, реалистическому отношению к жизни, к деятельному в ней участию и т. п.?

С самого начала своей писательской деятельности Гончаров сознавал, что всеохватывающим универсальным идеалом человечества на протяжении не десятилетий или столетий, а уже тысячелетий является идеал христианский. Отсюда, в частности, его всегдашняя обращенность к масштабному историческому обобщению. В предисловии к роману «Обрыв» он написал ясно и определенно: «В нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует евангелие...» (VIII. 157). А в статье «Христос в пустыне». Картина г. Крамского» еще более определенно: «Христианская вера имеет огромное и единственное влияние... Все почти гении искусства принадлежат христианству... чище и выше религии христианской нет... и нет другой цивилизации, кроме христианской...» (VIII.192). Слово сказано. Идеал Гончарова как писателя (то, для чего он работает) – это Евангелие. Его задача как художника – распространять и утверждать в современных людях христианский взгляд на жизнь, христианские идеалы и даже «христианскую цивилизацию» (это словосочетание – ключевое для романиста!). Именно под углом евангельского взгляда на жизнь и раскрывают свой смысл романы Гончарова.

Хотя в первом гончаровском романе нет открытой постановки религиозной проблемы, впервые религиозный фон так или иначе просвечивает в фигуре каждого персонажа, а главное – в общей постановке проблемы. В сущности, Гончаров впервые дерзнул прямо обозначить свой идеал как религиозный, введя в название романа «Обыкновенная история» евангельскую ассоциацию (евангельская притча о широких, т. е. «обыкновенных», и узких вратах).

Религиозное начало в гончаровских героях не акцентируется: религия – это просто некая соразмерная часть их личности. Очевидно, что провинциальные герои Гончарова – всегда люди либо набожные, либо хотя бы воцерковленные. Среди них нет атеистов. Если даже их вера ослаблена, они не смеют выказать пренебрежение к общепринятой норме поведения. Их религия – это не религия острых вопросов жизни и смерти. Скорее – это религия обытовленная: обряд, вошедший в быт. В романах Гончарова в этом смысле можно выделить целую галерею провинциальных типов.

Самый простой случай – слуги. Например, слуги Адуевых если и упоминают Божье имя, то в чисто бытовом контексте. Упоминают они его, как правило, всуе. Так, Аграфена Ивановна, провожая в Петербург своего сожителя Евсея, скрывает глубокие душевные переживания за просторечными восклицаниями, типа: «Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! И не отвяжется!» Или: «И слава Богу! Пусть унесут вас черти отсюда...» (Ч. 1, гл. I). В свою очередь Евсей, услышав, что его место в сердце Аграфены Ивановны займет «леший», отвечает в том же духе, но с большей долей серьезности: «Дай-то Бог! Лишь бы не Прошка» (4. 1, гл. I). Причем Евсей обнаруживает крайнее смирение и знание человеческой психологии: «Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет — *лукавый ведь силен*, — так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смирный, работающий, не зубоскал...» Евсей – яркий представитель народного Православия. Он первый в гончаровских романах употребляет «клятву образом», выражение, которое автор «Обыкновенной истории» слышивал в своем симбирском доме. По возвращении из столицы Евсей уверяет, что честно служил барину в Петербурге.

«— Готов не токма что своим господам исполнять их барскую волю, — продолжал Евсей, — хоть умереть сейчас! *Я образ сниму со стены...*» (Ч. 2, гл. VI).

И Евсей, и Аграфена мыслят крайне просто, но вместе с тем точно, зная, что душа человеческая колеблется между Богом и дьяволом, и всерьез принимают возможность искушения «от лукавого»:

«— ...С тобой только... попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... — Бог вас награди за вашу добродетель! Как камень с плеч!» (Ч. 1, гл. I).

При всей примитивности этого диалога здесь есть все: серьезное отношение к Богу, понимание того, что «враг» постоянно пытается соблазнить человека, сознание своей греховности (Аграфена Ивановна и Евсей не состоят в браке: барыня не разрешает) и покаяние.

Уже на первых страницах «Обыкновенной истории» мы встречаемся с тем чисто провинциальным «религиозным» типом, который, очевидно, часто попадался писателю в родном Симбирске и который вызывал его насмешку, а отчасти и раздражение, — это вездесущий приживала Антон Иванович, характерной чертой которого являются напускная набожность и кажущиеся твердые знания околоцерковного обихода. Гончаров пишет о нем: «Кто же не знает Антона Ивановича? Это Вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда... У нас, на Руси, он бывает разнообразен...» (Ч. 1, гл. I). Его религиозность чисто внешняя, так как «он *прикидывается*, что весь век живет чужими горестями и заботами». На самом деле это заурядный приживальщик. Вся его религиозность сводится к суе при исполнении церковного обряда и чело-векоугодию: во время молебна, который служит священник при отъезде Александра Адуева в Петербург, «Антон Иванович созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, и потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне» (4. 1, гл. I). Его суетливость естественно связана и с суеверностью. Когда наступает время Александру сесть в экипаж, Антон Иванович берет на себя роль распорядителя. «Сядьте, сядьте все! — повелевал Антон Иванович... и сам боком, на секунду, едва присел на стул. — Ну, теперь с Богом!» Точно так же суетится он и по возвращении Александра в материнский дом.

«— Он! Он! — кричал Антон Иваныч, — вон и Евсей на козлах! Где же у вас образ, хлеб-соль? Дайте скорее! Что же я вынесу к нему на крыльцо? Как можно без хлеба и соли? примета есть... Что это у вас за беспорядок! никто не подумал! Да что ж вы сами-то, Анна Павловна, стоите, неидете навстречу? Бегите скорее!..

— Не могу! — проговорила она с трудом, — ноги отнялись.

И с этими словами опустила в кресла. Антон Иваныч схватил со стола ломоть хлеба, положил на тарелку, поставил солонку и бросился было в дверь» (Ч. 2, гл. VI). Антон Ивано-

вич знает именно внешнюю обрядовую сторону Православия, но его вера сродни суеверию и язычеству, она никак не выражается в его делах, образе жизни. Неудивительно, что Антон Иванович путает слова молитвы, произносимой им без всякого чувства. Выходя из-за стола, он так читает благодарственную молитву: «Благодарю тебя, Боже мой, – начал он вслух, с глубоким вздохом, – яко насытил мя еси небесных благ... что я! замолелся язык-то: земных благ, – и не лиши меня небесного Твоего царствия» (Ч. 2, гл. VI).

Вся жизнь равнодушного к чужим делам, но слывающего за «милостивца» Антона Ивановича сводится к «дармовому» столу у соседей по имению. Поэтому вместо «Не пророню ни словечка» он, постоянно проговариваясь и путая, говорит: «Не пророню ни кусочка» и т. д. И глубокий вздох его на молитве – это вздох после сытного обеда. Так Гончаров создает уже в первом романе один из непривлекательных образов фарисействующего христианина-обывателя.

Мельком упоминает Гончаров о религиозности Елизаветы Александровны, жены Петра Адуева. Однако в одной фразе кроется глубина ее веры и преданность Божьей воле. Успокаивая в последний раз Александра Адуева, она говорит: «Не разочаровывайтесь до конца!., всякому из нас послан тяжкий крест...» (Ч. 2, гл. V).

В особом художественном контексте изображается Гончаровым набожность немца-учителя, преподающего немецкий язык и литературу Юлии Тафаевой. В этом плане любопытно, как учитель отбирает книги для Юлии: «Первая книга была: «Идиллии» Геснера. «Gut!» – сказал немец и с наслаждением прочел идиллию о разбитом кувшине. Развернул вторую книгу: «Готский календарь 1804 года». Он перелистывал ее: там династии европейских государей, картинки разных замков, водопадов. «Sehr gut!» – сказал немец. Третья – Библия: он отложил ее в сторону, пробормотав набожно: «Nein!» (Ч. 2, гл. III).

В образе Костикова изображает автор «Обыкновенной истории» человека, любящего клятвы и постоянно повторяющего слово «анафема» (распространенный бытовой тип):

«– Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я анафема! – промолвил он и отошел к своим удочкам... Костяков на другой же день повлек Александра опять на рыбную ловлю и таким образом, по собственному закланию, стал анафемой» (Ч. 2, гл. IV).

С любовью, хотя и не без мягкого юмора, описывает Гончаров религиозность матери Александра Адуева. В этом описании ясно ошутим биографический подтекст: Анна Павловна в своей любви к сыну, в своих религиозных переживаниях очень похожа на реальную личность матери Гончарова – Авдотью Матвеевну. В «Обыкновенной истории» Гончаров с удовольствием воспроизводит основные черты так называемого «народного Православия», которое он хорошо усвоил из провинциального домашнего быта и которое, надо признаться, и спасло его «во дни сомнений и тревог». В религиозности матери Адуева причудливо сочетаются простая, не осложненная рефлексией вера в Бога с обычной житейской практичностью и слепой любовью к своему чаду¹³⁶. Гончаров неприметно иронизирует над таким сочетанием. Отговаривая Александра ехать в Петербург, Анна Павловна говорит: «Погляди-ка... какой *красотой* Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной *ржи* до *пятисот четвертей* сберем... Подумаешь, как велика *премудрость Божия*! Дровец с своего участка мало-мало на *тысячу продадим*...» В ее сознании Богозданная красота сводится к количеству ржи, а Божья премудрость – к обеспеченности дровами. А «истинно небесное великолепие» озера заключается в том, что Адуевы «одну осетрину покупают, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат» (Ч. 1, гл. I).

Но есть в ее веровании и глубина, и серьезность – в особенности когда она беспокоится о судьбе сына. В ее последних наставлениях ему – целая «домостроевская» программа жизни. Во-первых, она просит сына не забывать Бога: «Выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты нагладишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, Он, Отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, *пуще всего не забывай Его, помни,*

что без веры нет спасения нигде и ни в чем» (Ч. 1, гл. I). Своими словами, по-матерински, пересказывает Анна Павловна учение св. отцов Церкви, выражая народное понимание веры («Без Бога – не до порога»).

Быть с Богом всегда – и в счастье, и в несчастье, в богатстве и в бедности – так учит Церковь, так же учит Александра Адуева его мать: «Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь – ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, – все-таки смирайся перед Господом Богом: молись и в счастья и в несчастий, а не по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь – и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех» (Ч. 1, гл. I).

Наставления матери проникнуты православным взглядом на жизнь и касаются всех основных ее сторон. Прощаясь с сыном надолго, она считает нужным прежде всего сказать о духовном (хотя оно постоянно разбавляется бытовым, что естественно): «Блюди посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу – Бог простит; а в Великий Пост – Боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что Страстная неделя – все одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то Бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого» (Ч. 1, гл. I). Разумеется, в народном Православии важна не только оценка человека Богом, но и другими людьми. Эту человеческую оценку и акцентирует Анна Павловна.

Считает нужным сказать она и о деньгах. Причем, как и в случае со средой и пятницей, она, ради земного благополучия сына, готова и слукавить немного перед Богом: «К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; Бог подаст!» (Ч. 1, гл. I).

Но более всего волнует мать воцерковленность Александра: «Будешь ли ты посещать храм Божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула» (Ч. 1, гл. I).

Когда она говорит о себе как матери, ее слова незаметно переходят в молитву: «Ну, я тебя не неволю, – продолжала она, – ты человек молодой: где тебе быть так усердно к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то Он, милосердный Отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все: здоровье, жизнь, пошли слепоту – тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.